

ОЛЬГА ЛАНСКАЯ

**ПИТЕРСКИЕ
ПАУТИНКИ**

РАССКАЗЫ

**САНК-ПЕТЕРБУРГ
2021**

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Л22

Ланская Ольга
Питерские паутинки. Рассказы. — СПб. :
Нестор-История, 2021. — 208 с.

ISBN 978-5-4469-1941-3

Книжка эта — о странных встречах, о знамениях всяческих, разговорах-сказочках, которые туманами синими, тенями тихими, снами тайными пронизывают всякую питерскую жизнь.

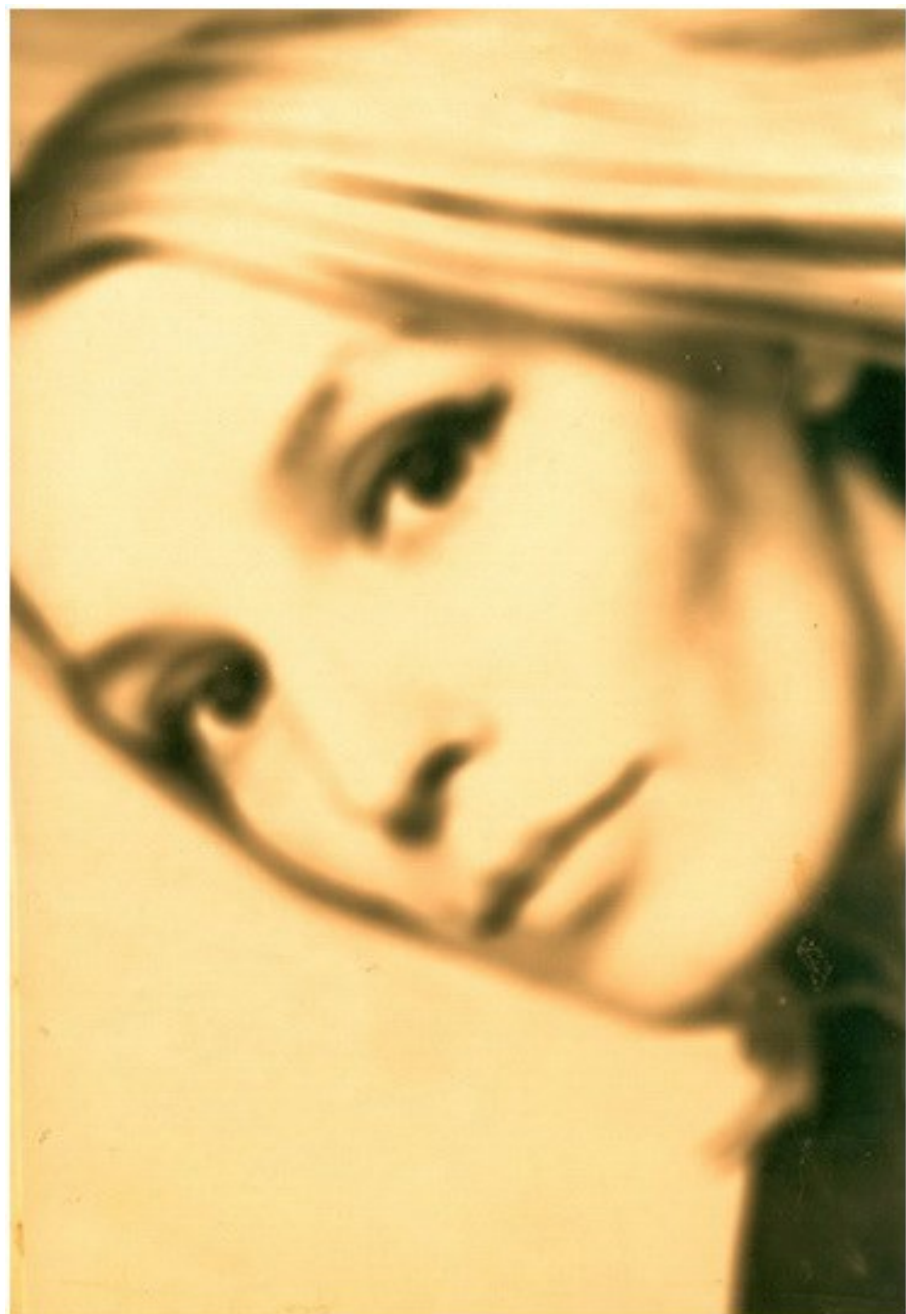
Нет ничего случайного ни в чьей судьбе, хоть так часто люди проходят мимо, не замечая никого из мира видимых и невидимых, словно нет его.

А он есть. И магическое его волшебство разлито в воздухе, в древних водах Невы и Фонтанки, в старых домах Города, его улочках-переулочках, проспектах, набережных, сохранивших всё внутри себя с самого начала бытия на этой земле.

Сохранивших и пронизывающих всё и всех нас колдовскими питерскими паутинками.

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус)

© О.Ю. Талалаева-Ланская
В оформлении частично использованы снимки Рунета



Об авторе.

Ольга Ланская (полное имя – Талалаева-Ланская Ольга Юрьевна) – литератор, член Союза журналистов России, Ассоциации выпускников СПбГУ (ЛГУ), Российского союза писателей.

Депутат Смольнинского муниципального совета первого созыва, пресс-атташе Клуба муниципальной прессы Санкт-Петербурга после трагической гибели сына отказалась от встреч с читателями – очными и телевизионными, почти не дает интервью, ведет замкнутый образ жизни, полностью посвятив себя литературе.

Автор сборников стихов и прозы, вышедших в различных издательствах, победитель литературного конкурса "Георгиевская Лента", посвященного 70-летию Победы, публикуется в изданиях Российского Союза писателей, "Наследие", ЛГ и др.

Мистическая трилогия Ольги Ланской (Талалаевой-Ланской О.Ю.) "На руинах Империи" главным книгохранилищем страны - Российской Государственной Библиотекой ("Ленинкой") – включена в каталог художественных изданий с 1831 года.

Отмечена медалями имени А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, Сергея Есенина. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Ольга Ланская, давним знакомством с которой я горжусь, – это уникальный, неповторимый голос русской литературы.

Анна КУЛИКОВА,

Член СЖ России,
Заслуженный работник культуры РФ

Часть 1-я

КРЕСТЫ КОЛДОВСКИЕ

...И как поняла я только, что третья сказочка моя в небытие уплывает, вскочила, кинулась на кухню кофе заваривать. Почему?

Да потому, наверное, что уже несколько дней, как дала себе слово, — ни строчки не писать, раз нет того, кто строки эти ждал и любил.

И слово держала...

ПЕРЧАТКИ

И стала я страшнее ночи. И на глаза бы людям не показываться. Не пугать. А все надо: туда, говорят идти надо, сюда...

И брожу я тенью страшного горя, и люди, взглянув мне в лицо, вздрагивают. Не то чу-чело бредет какое-то, или причудилось в тумане что? И, спеша, уходят подальше.

У холодильника крышка сегодня оторвалась. И чуть не придавила меня. Прижала я ее на место, придавила столом. Идти надо. Все дела, дела... Вроде, и не нужные мне, но необходимые. Идти. По льду и воде, снежной ноябрьской каше. Идти с этим страшным — не моим! — лицом. Надо...

Только смуглый черноглазый парнишка, явно южных кровей, почему-то не испугался, когда увидел, как я по льдам “Апрашки” пробираюсь — рынок у нас в Питере такой есть. Вместо бывшего шикарного “Апраксина Двора”, витринами которого мы любовались, идя под его сводами с Гороховой на ежевечерний Невский “променад”.

А какая сирень была на чистой — ни соринки! — Сенной. И страшный забор, за

которым рушили древнюю церковь, потому что объявил новый управленец страны нашей (Хрущев фамилия у него была) войну “опиуму для народа”.

Сначала, правда, на Сталине потоптался, а потом вошел во вкус, пока не остановили. Живы были еще фронтовики. По делам судили, не по речам крикливым да поспешным...

И вот, пробираюсь я через колдобины среди торговых рядов да рядочков новой “демократической Апрашки”, чтобы дорогу сократить, слышу, чернявенький-то парнишка говорит мне:

— У меня перчатки для Вас есть! Черные, длинные, чтобы в рукава ветром не задувало!

Заметил, ведь, что рукава у меня растрюбом...

— И цвет, глядите, как Ваша шубка, точь в точь! Такие же черные.

И протягивает мне сокровище.

Молчу. А он улыбается белозубо:

— Я бы Вам и даром отдал, для Вас они словно. Только вот хозяин... Хотите, всего за 250 рублей?

Молчу. Думаю, и вправду мои словно перчатки, да куда уж мне красоту такую! Ушла моя красота в сырую землю, и сказал кто-то из женщин: “Вы были самой красивой парой у нас, на Фонтанке”.

Были...

А парнишка говорит:

— За 200 отдам! Берите. В магазине они не меньше тысячи стоят!

И смотрит весело. И страшное мое, испещренное горем лицо, словно не видит.

Отвернулась я и ушла. Подумала еще не очень по-доброму: хорошего торговца родители себе в помощь вырастили. Внимательного.

Ушла... Но с тех пор все думается мне, что-то, видимо, надломилось в душе моей, если я главное-то нескоро поняла. Пока люди не пояснили. Самое явное, чего я не заметила.

Дядечка, которому историю я эту рассказала, посмотрел на меня внимательно и говорит:

— А, ведь, Вы там Ангела встретили!

И потому запомнились мне слова эти, что как только отошла я, спохватилась, что нехорошо о человеке подумала.

Обернулась, а позади — никого. Пустырь с ледяными лужами на краю гудящей, кипящей Апрашки и — никого. Ни черноглазенького, ни его странной тумбы с перчатками. Подивилась я и пошла дальше, забыв на время обо всем, кроме того, чем была изранена умирающая моя душа..

И задувал ледяной ветер в расклешенные рукава моей собольей куцавейки, и сжимали зубы мои концы черной косынки, чтобы с головы не сорвал злой наш норд-ост. И не было со мной ни света, ни надежды.

*Санкт-Петербург,
17.11.2016*

ПИТЕРСКИЕ ПАУТИНКИ

Странную женщину встретила я вчера на закате.

Спрашивает:

— Скажи, как мне вашего питерского Чижика увидеть?

— Вам вернуться надо, говорю. Вы уже прошли его.

— Да-да, конечно, — говорит. — Понимаю. А не подаришь ли ты мне свое колечко?

— А зачем Вам чужое колечко? — спрашиваю. — Кольцо с чужого пальца — чужая судьба. Зачем Вам моя судьба?

— А затем, — говорит она мне. — Затем, девонька, что предстану я там, у Господа Бога ни в чем и ни с чем. Вот твое колечко и покажу Ему. Гляди, мол, я на себя все чужие беды взяла, все грехи. Может и помилует Он меня за твое колечко-то? Как ты думаешь?

— Не знаю, — отвечаю я. — Как знать, чье кольцо по грехам перевесит-то? Ваше, или мое?

— А ты мое-то кольцо видела?

— Так вон у вас сбоку от обручального червонным золотом на пальце что горит? А моему 10 рублей цена, на Апрашке куплено.

Да так давно, что уже ни цен таких, ни продавцов нет.

— Это я и без тебя вижу, — говорит.

И смеется.

Не верит, что ли.

А мне обидно. При мне малыш мой за свою десятичку это колечко мне купил. Красивое, узора небывалого, словно корона из брюликов горит на закате. Дешевенькое, а мне дорого.

— Не отдашь кольца-то? — снова спрашивает женщина.

И ухмыляется.

— Нет, — говорю. — Не отдам.

И пошла себе дальше.

А тут мужчина навстречу:

— Не скажете, где «Военторг» найти?

— В Советском Союзе, наверное, — говорю.

Ничего про нынешние военторги-то я не знаю. Один Сердюков в голове. И его любовница. Какие уж тут «Военторги»?

— А, говорят, на Суворовском есть, — шеплет дядечка.

И смотрит как-то кривенько, сбоку, словно глаза у него, не как у людей поставлены.

— Если так, то почему Вы в противоположную сторону идете? — спрашиваю. — Вам вернуться надо. Суворовский-то там, за Аничковым, по Невскому и — налево.

Смеется дядечка:

— А я прямо пойду!

Да и ладно, думаю, идите, куда хочется. Погода теплая, вечер светлый. И тихий. Наши с Фонтанки, похоже, еще вчера отстрелялись: "Зенит" — победитель!"

И минутку спустя, пока я раздумывала, еще один добрый человек предложил странное:

— Тебе, может, еще одну Солнечную поляночку прислать, может пригодится? Для вдохновения.

Зло так сказал. Спьяну ли, с зависти ли бросил.

Русскими полянами расшвырялся. Чьи-то вдохновениями...

А, может потому, что завершила я новую книгу, и называется она: «Солнечные поляны», и объявила об этом друзьям — порадо-

вать чтобы, и ушла отдохнуть. И все пожелали мне доброй ночи, а этот странный человек почему-то вдруг рассердился?

И вспомнила я встречу на закате с той странной женщиной, которой так хотелось моего колечка.

И человека, что шел не к тому, что искал. Да и искал ли?

И что-то мне открылось, только неясно, и надо было бы спросить у того, третьего, о чем он? Бросилась за ним, а его нет.

Исчез мой третий-то странный.

И ни цыганки, ни ищущего "Военторг". Никого. Пуста Фонтанка.

Словно спугнул кто неслышной тихой молитвой нечисть нашу, как ветер паутинку, пока шла я, да слова об увиденном старалась не потерять, чтобы с вами поделиться. Я всегда пишу так – сначала мысленно рассказик-то рождается.

Пришла домой, записала все...

Так вот оно что, думаю, может, творчество – это как молитва?

Пишешь ли, рукавички ли вяжешь, цветы растишь, картины создаешь, детям сказочку

на ночь напеваешь — все — молитва, все ей сродни? И потому черти от нас разбегаются?

А нападают от страха. И жадности: а вдруг, кто подломится? Доверчивых да простых душой — вон сколько!

Санкт-Петербург

ЗОЛОТУШКА

И как поняла я только, что третья сказочка моя в небытие уплывает, вскочила, кинулась на кухню кофе заваривать. Почему? Да потому, наверное, что уже несколько дней, как дала себе слово, — ни строчки не писать, раз нет того, кто строки эти ждал и любил.

И слово держала.

Но стало со мной происходить что-то непонятное.

Голова, словно и на месте, да тихо так, не спеша пустеет.

Все реже в ней молитва, без которой четыре месяца я ни шагу не прошагивала, а все чаще — пустота.

Да странная такая пустота.

Мысль в ней иногда, как крохотная золотушечка, змейкой-ниточкой сверкнет, укусит скоренько, как иголочкой, да тут же исчезнет. И забудется. А след остается.

Ну, как от укола.

Мне бы и забыть, а нет, возвращается.

И все странный след.

Такой в голову раньше и не зашагивал.

— Вот зачем, — спрашивала Золотушка-то. — Вы на свет-то зачем рождаетесь? Все равно — в землю или в пепел.

Кольнула и растаяла. А я и забыла.

А ночью просыпаюсь вдруг:

— Зачем, мама?

И так она меня все колола вопросами без ответа, а я все то Сережа, то маму спрашиваю.

И тут вспомнила, что оба в земле...

И еще вспомнила: говорила мама, если сможешь, не рожай, деток, Лялюшка!

— Ты че, мама, как это не рожать? — кричу задиристо да весело. — Ты, ведь, меня родила, и я рожу! Девчоночку рожу, и смеяться мы с ней будем каждую минутку!

Отвела глаза мама в сторону. Спорить не любила — воспитание не то.

А тут Золотушка опять:

— Ты зачем комп включаешь? Небось, опять надумала что?! Полежи да отдохни, дел поделай, квартира-то вразнос. И мужу слово давала — ни строчки!

Права она, думаю.

А тут и комп сдох. Ну, думаю, — все.

А сама все никну и никну.

И забывать стала.

Сначала все пароли напрочь сбежали, а потом и мира вокруг не стало.

Ничего, кроме ушедшей осени и Волковского кладбища нет на свете.

Одна я.

А через какое-то время — новый сюжет меня из гробовой черной ямы выдергивает, куда я между копателей-то заглядывала, да так вроде бы и застряла как-то, забылась, что ли...

Выдергивает он меня из забытья-то и спрашивает: у тебя, девонька, бумаги мало, что ли? Ручки шариковые пересохли, что муж накопил? А карандаши?

И точно!

Хватаюсь за карандаш, а тут чайник заверещал, да вода в стиральной машине чего-то от меня хочет. А пыли-то вокруг! Какие уж тут карандаши! Какие сюжеты! Все ушло...

Только после этого с собакой моей странное стало твориться. Она существо непростое — второй родилась, а было их в семье 8 девчонок и один парнишечка.

Родилась второй, самой толстой и веселой.

Над всеми посмеивалась — а то! На голову выше всех, да глаза, как у Клеопатры. Но главное — характер.

Злиться не умела, на пол никогда не сядет и с полу ничего не возьмет. Только все посмеивается, словно огорчаться некогда, да и нечему.

Весь круг по Зодчего Росси, Невскому проспекту, да вдоль Фонтанки, по которому я ее на плече носила, пока она посапывала, да сил набиралась для будущей великой славы Лучшей В Мире Далматики, народ глаз от нее не отрывал — так хороша!

Только вот, беда-то всегда за углом.

Около годика ей было, как сбила ее машина.

И едва выходили.

Лечили ее долго, но ничего не запало ей в душу — ни удар, ни боль, ни два месяца почти неподвижности, операций да уколов. Пришла в себя, ходить стала и улыбаться всем людям, словно не бывает на свете ничего плохого.

И ей все рады.

Вернемся с прогулки, так с ее радостью будто вдвое нас больше — звенит и поет все.

А тут вдруг пусто в доме — то стало.

Она ждала.

Ляжет носом к порогу и тихо так поскуливает. Едва слышно. Погладила я ее по голове и чувствую, глаза — то влажные.

А вчера... Первый раз я решилась вывести ее одна на прогулку. Возвращаемся, а как дошли по лестнице до поворота к квартире, уперлась она лапами в нижнюю ступеньку, и ни шага.

Я так и эдак, и уговариваю, и упрекаю. Ни с места.

— Оставляю здесь! — говорю.

И пошла домой.

А она вниз, к входной железной двери и смотрит на меня: мол, забыли за дверью-то кое-кого...

Села я двумя этажами выше — сил нет. Я ведь поднять ее пыталась, да она весит чуть не вдвое больше, чем я теперь. Есть-то я не могу. А на воде много ли сил наберешь?

Сижу, дают меня слезы, душат просто.

Зажала лицо, впилась пальцами, а боли не чувствую. Душевные связи-скрепочки руками не рвутся...

Чувствую, тычет меня в руку кожаным своим носом, от лица пальцы отводит и вниз зовет.

— Не могу я, — говорю я псинке своей. — Не могу. Нет папани больше. Нет. Ни Антошки, ни Папани.

Первый раз ей сказала.

Смотрю, почернели глаза, улыбка с морды сбежала. Осунулась.

— Пойдем домой, — говорю. — Там ждать будем.

Она снова вниз. Постояла. Вернулась.

Смотрит — не верит.

— Дома ждать проще, — говорю ей. Лампадку Папане с Антошкой зажжем. А то погасла уже, наверное. Ждать там будем.

А Золотушка тут как тут:

— Лжешь, ведь! Грех!

— Господи Иисусе, Сыне Божий, — едва слышно шепчу.

А Малышка моя, будто что поняла, услышала. Пошла со мной рядом. Вошла в дом. Ждет, когда лапы я ей от уличной грязи отмою. Привычное дело. Ждать-то...

Вот и говорили раньше, когда баркасы кроили: смотри, крепки ли скрепы, а то разнесет в щепы!

Ночь. Санкт-Петербург спать укладывается. Смотрю я на свою псинку и думаю, а ведь и правда, нет ничего крепче духовных-то скреп. Ни на том свете, ни на этом.

Ой, а про главное-то забыла сказать. Принес мне вчера Владимир Владимирович четыре банки сгущенки:

— У нас в "Пятерочке" хорошая сгущенка появилась, — говорит. И посмеивается. — Давно такой не было! Вот мы с Маринкой решили: может, понадобится?

Сварила я сразу три баночки, да с чаем, да с хлебом! И получилось, что двое суток пирожными питаюсь! Наелась досыта и заснула. Да так, что пушкой не разбудишь.

И сгинула Золотушка. Не знаю только, надолго ли, но сгинула!

*Санкт-Петербург,
2 марта 2017*

КРЕСТЫ КОЛДОВСКИЕ

Егорша парень у нас спокойный, вдумчивый. Несуетливый, но и не тормоз. Нормальный, одним словом. Серьезный.

Пришел вчера из школы, ничего не сказал особенного. Да и не из болтливых он. А сегодня днем, убегая в Аничков на тренировку, вдруг остановился уже перед дверью и говорит бабушке:

— Прости, совсем забыл. Я вчера кресты на дороге нашел.

И протягивает ей что-то в кулачке.

— Вот, — говорит. — В карман куртки сунул их и забыл.

Бабушка Пелагея приняла находку-то внука, держит на раскрытой ладони и спрашивает:

— А где нашел ты их, Егорша?

— Да бежал, вдруг блеснуло что-то на асфальте. Я сначала не обратил внимания. Обернулся, а оно блестит. Вернулся, смотрю — кресты. Да странные такие. Вот я и поднял — тебе показать.

— Никогда, — говорит наша Пелагея Сергеевна. — Никогда, Егорша, чужой крест не бери. Никогда, слышишь?

— Хорошо, — говорит Егорша. — Ну, мне пора, а ты посмотри, что за кресты-то такие.

И убежал. А Пелагея наша говорит мне:

— Неси-ка прозрачный стакан да святую воду!

А сама ладонь раскрытой держит, пальцы словно как заморозило у нее.

Взглянула я, и словно холодом обдало.

Лежит у нее на ладони-то змея витая-перевитая, серебром отливает, а из нее крестики торчат. Большие и малые.

И перепутано все так, как будто кто специально скрутил да перекрутил. Ни конца, ни края. Клубок. И кресты поблескивают.

Пелагея Сергеевна наша правой рукой перекрестилась, в левую бумажку взяла и Егоршину находку на нее положила.

— Смотри, не прикасайся, — говорит. — Чужой крест — чужая судьба. Нам своих хватает. Засвети-ка лучше лампадку у Тошеньки.

Это она погибшего нашего Антошу так величает. И лампадка-то в доме с тех пор, как убили его.

Взяла я масло, поправила фитилек, засветила. Смотрю, а Пелагея Сергеевна-то клубок этот с крестиками аккуратно так распутывает, тихонечко, по кругу, а сама молитву все приговаривает. То "Отче...", то "Святой Бессмертный..."

Тихонечко так, и тоже как бы по кругу, не останавливаясь.

И клубок этот странно так повел-то себя: путался, путался и вдруг распутываться начал.

И вижу я, что крестики все разные, с надписями — то короткими, то такими маленькими и длинными, что не прочитать.

Поднапряглась я было и смотрю, вроде молитва там, только начинается со слова: "Ад..."

А Пелагея Сергеевна как цыкнет:

— Нечего читать тут, не книги это!

А сама все распутывает да распутывает. И все молитвы читает, как песни мурлычет.

Удивило меня, что на крестике, что побольше, Иисус как бы на двух ногах на кре-

сте. Вроде как не по-русски это. У нас по-другому принято, вроде.

А один крестик даже как бы с ангелом — крылья у него и тоненькая пика в руках...

Словно помогал кто Пелагее Сергеевне нашей — распутался клубок-то.

И тут меня совсем сразило: среди всех крестов два-то такие маленькие, как для деток...

А Пелагея Сергеевна шпилечкой цепку с крестами поддела и в стакан со святой водой трижды опустила. И все под молитву.

И что странно, всякий раз, как опускала она эту связку с крестами в святую воду, словно бы закипала вода.

Мелкими пузырьками всю цепочку и каждый крестик обволакивало почему-то. Как ошпаривало!

На четвертый раз опустила она клубок этот распутанный в стакан со святой водой на самое дно и говорит мне:

— Не трогать! Я сейчас.

И быстро так пошла. В ванную, к крану с холодной водой.

Я за ней. Интересно мне. А она говорит:

— Открой холодную!

И руки под студеную воду подставила, не спеша так поворачивает ладони-то, словно жжет их жаром невидимым, а ей остудить надо...

Потом говорит мне:

— Не ходи со мной. Я сейчас.

Плащик накинула и ушла. А Егоршину находку в бумажку завернула и с собой прихватила.

Вскоре возвращается. Ну, вот, говорит, у кого-то беды убыло, а кому-то добро прибыло.

— А кому добро-то? — спрашиваю.

Смеется:

— Да всем. Больше в Фонтанке никто тонуть не будет.

И опять смеется:

— Забудь. Дел мало, что ли?

— Да много дел-то.

— А я о чем?!

Санкт-Петербург, Фонтанка

РУССКАЯ ХАНДРА

И начались ливни. И холод выморозил полы в домах — босиком уже не пробежишься, да и зачем?

Аллея Гоголя прозрачна — сорвало всю листву, и обнажило изящные фонари, двуглазые, с шахматным коньком в центре, долгими мокрыми ночами играющие свой загадочный матч.

И изощренной формы часы, принадлежащие вечности, безразлично сияют золотом и малахитом, словно смеются над бесконечно неуместными сентябрьскими ливнями и моей хандрой.

Я пробираюсь сквозь ледяной ливень по Аллее Николай-Васильича, я люблю каждую плитку на ней, и мне не тяжело.

Давно исчез белый шатер с чудесной юной Шоколадницей, словно его никогда и не было, я поднимаюсь на третий этаж, подхожу к нужной двери, и злая тетка лет сорока кричит мне:

— В очередь, в очередь! Вы что особенная? Зачем вы кладете здесь сумку?

Оборачиваюсь на визг. Между нами два пустых стула.

— Вы не видите, я сижу тут, — кричит женщина. — Или я тут не человек?

— Не человек, — тихо отвечаю я. — Вы — не человек.

— Вам в дурку надо! — кричит тетка. — В дурку!

— Да, — отвечаю я. — Наверное, Вы правы.

Это ее внезапно успокаивает, и я прохожу в запретную дверь, возле которой три разновозрастные дамы привычно ждут очередь к счастью, которое подарит им доктор.

Мне врач не нужен, я прохожу сквозь кабинет, открываю потайную дверцу, почти незаметную в белой стене.

— Привет, папа Карло!

Мы смеемся, хоть нет камелька, и время сказок закончилось...

— Только не для тебя, — смеется папа Карло. — Только не для тебя...

*Санкт-Петербург
2016 г.*

А НОЧЬЮ ШЕЛ ДОЖДЬ...

Темно. Так темно, что, кажется, само утро еще спит.

Выглянула в окно — плитки двора черны и влажны — видимо, дождь прошел.

То-то спалось нынче, как на облачке. Или где-нибудь в Саянах, чуть выше трех тысяч метров, где уже нет ни комаров, ни прочей таежной гнуси, а трава зелена, как на альпийских лугах. До одурения.

И воздух напоен такими лесными настоями, какие только и бывают в горах на высоте, где лес уже позади, а до заснеженных гольцов еще добрая пара километров.

А всего-то — дождь ночью прошел.

Омыл декабрьский спящий Санкт-Петербург, освежил все еще зеленые газоны.

И задышал Великий город свежестью далеких лесов и не загубленных глупыми людьми дворцовых парков.

Так же, как в то давнее летнее утро, когда жив был еще попугай — зеленый наш Кирилл Владимирович. А я все улыбалась, погру-

женная в свое горе, никого вокруг не видя и не вычленяя из общей шевелящейся биомассы, потому что все ждала и ждала одного-единственного из тысяч и тысяч. А вдруг!..

А вдруг распахнется дверь, и войдет сын — красивый, загорелый, сверкающий, то ли от того, что любил море, как мало кто, то ли от счастья, которое всегда в нем огоньком светилося...

Я все ждала, что он войдет и окликнет меня:

— Здравствуй, ма! Вот я и дома...

И годы шли, и дни, и месяцы.

Однажды, правда, кто-то позвонил. Было около часу ночи. И сказал голосом сына:

— Здравствуй, ма!

Я трубку сжала, слова сказать не могу, в голос вслушиваюсь... Ни жива ни мертва.

А он говорит:

— Ма, ты что, ма? Это же я, ма!

Словно из омута рыбиной раненной, от дна ямы ледяной ногами неживыми оттолкнувшись, вынырнула.

— Ошиблись, — говорю голосом, каким никогда ни с кем не говорила прежде.

Замороженным, ледяным, отталкивающим — медленным мертвым голосом — солнечному, веселому, неповторимому: «Здравствуй, ма! Это я!» — говорю, как гвозди в гроб заколачиваю:

— Вы ошиблись...

И, себя не слыша, знаешь, так провода гудят — где-то высоко, и прислушаться надо, чтобы гул этот услышать, — медленно произношу:

— Успокойтесь. Наберите правильно номер...

А у самой губы как бы занемели, не движутся, и каждое слово мое — не мое:

— Все у вас будет хорошо. Не волнуйтесь и не спешите только...

— Ма, ты что?!

Родной неповторимый голос! Неповторимый....

Больше я не могла.

— Вы ошиблись, — повторила я. — Моего сына убили.

И положила трубку.

И ушла в самую дальнюю комнату, туда, где телефонный звонок не слышен. Села на диван и стала ждать.

— Джюниор, Джюниор! — позвала, перевернувшись вниз головой на ветке, зеленая птица по имени Кирилл Владимирович, посмотрела на меня небесно-голубыми глазами, отороченными оранжевыми ресницами.

— Нет, Кирилл Владимирович. Просто ошиблись номером.

Он все еще вопросительно смотрел на меня.

— Ошиблись, — повторила я.

Санкт-Петербург

(Впервые опубликовано в ЛГ)

ЦЫГАНКА

Кончается сентябрь, и солнце баюкает на своих золотых лучах последние дни странного месяца. Странного, если полистать годы.

“Цыганка”, толстая, с полуголым мертвенно-бледным, словно неживым, младенцем... на руках?

Я смотрела, и не могла понять, как он держится у ее пышной груди, потому что руки ее вдруг оказались свободны и потянулись ко мне так, словно заранее нетерпеливо поспешно ощупывая каждую складочку моего траурного платья.

А между делом нудно-заученно она клянула что-то, и в глазах ее разгорался нехороший хищный огонек.

Ребенок был совсем маленький. И белый-белый. И не шевелился.

Она не держала его. Может быть, он был примотан к ней?

Я не могла оторвать от него глаз. И белые сомкнутые веки, казалось, никогда не открываются. Да жив ли он?

А она тянула ко мне руки, словно хотела обыскать каждую складку черного моего платья, и шла на меня, все быстрее и быстрее говоря:

— Отдай деньги! Деньги, отдай. Деньги! Горе твое сниму.

И говоря все это ничего не значащей скороговоркой, она оказалась вплотную ко мне, и ее руки уже потянулись к моей сумке с погребальными цветами и святой водой, которые несла я на вчера только закрытую могилу мужа.

И услышав это слово — "горе", это дикое ее обещание, я будто бы очнулась, будто бы пришла в себя, хоть много позже я поняла, как долю еще не могла я очнуться от так внезапно раздавившей меня беды, стать самой собой.

— Горе?! — глухим шепотом спросила я, приближая глаза к ее глазам, входя в ее глаза и идя дальше, сквозь них. — А моего горя зацепить не боишься? Да с собой уволочь кусочек, а?

Она отшатнулась. Что-то дрогнуло в ее лице-маске. И исчезла, словно никогда ее и не было.

Через секунду я оглянулась.

Пуст был Невский проспект. Солнце заливало его от поворота у Лавры до самого горизонта на Севере. И тихо уходил по нему горящий червонным золотом глухой сентябрь.

Санкт-Петербург
29 августа 2017

ЗАГАДКИ...

Странные вещи иногда происходят. Приснился однажды мне дом. Высокий, необычной формы. Никогда такого не видела.

Проснулась, зарисовала – за суетой забудется, а дом необычный очень. Откуда в сон пришел? Я редко запоминаю то, что снится, но иногда...

Так вот, через несколько дней случайно – не помню уже по какому поводу – рылась в рунете и наткнулась на фото этого дома! Вот он. Что же с ним в моей жизни может быть с ним связано?

А вот и надпись к нему нашлась: Дрезден, 1711-1728...

Нашла! Здесь живет «Сикстинская мадонна»!

Это действительно уникальное место!

“Цвингер в Дрездене является наиболее известной и популярной достопримечательностью саксонской столицы, которую знают далеко за пределами самой Германии.

Именно в этом месте хранятся такие шедевры мировой культуры, как «Шоколадница»

и «Сикстинская мадонна», а также другие непревзойденные полотна.

Ансамбль из дворцов (Цвингер) – это гениальное произведение искусства, выполненное в стиле барокко. Это один из символов населенного пункта.

Он находится в центре мегаполиса по соседству с набережной Эльбы.

И в первую очередь Цвингер знают как место, в котором располагается Дрезденская картинная галерея...”.

Мне приснилась, оказывается, Дрезденская галерея, где хранится «Сикстинская мадонна»!

Проснулась в три ночи. Не отпускает меня тот дом, наяву никогда мою не виданный. И вот, что узнаю.

За Мадонной, оказывается, наблюдали папа Сикст II и святая Варвара.

Они были реальными историческими персонажами, которых за мучения церковь канонизировала.

Папа Сикст II недолго пробыл на престоле – с 257 по 258 год. Ему отрубили голову при императоре Валериане.

Святой Сикст был покровителем итальянского папского рода Ровере, название которого

переводится как «дуб», поэтому на золотой мантии вышиты желуди и листья этого дерева.

Тот же символ присутствует и на папской тиаре, три короны которой символизируют царство Отца, Сына и Святого Духа.

Задний фон — вовсе не облака, как может показаться, а головы младенцев. Это еще не родившиеся души, которые пока на небесах и славят бога. Ангелы внизу своим бесстрастным видом говорят о неизбежности божественного промысла. Это символ принятия.

Заказ на написание полотна Рафаэль получил от папы Юлия II.

Таким образом понтифик хотел отметить включение Пьяченцы (городок в 60 км к юго-востоку от Милана) в состав Папской области.

Территория была отвоевана у французов в ходе борьбы за северные итальянские земли.

В Пьяченце находился монастырь святого Сикста — покровителя рода Ровере, к которому принадлежал понтифик.

Монахи активно агитировали за присоединение к Риму, за что Юлий II решил их отблагодарить и заказал у Рафаэля заалтарный образ, на котором Богоматерь является святому Сиксту.

Такая вот история...

И тут же отклики.

Наталия Половнева:

– Оля, ты молодец! Не знаю этот дом, но твердо знаю, что связь у тебя с ним или твоими предками (генетическая память или реинкарнация).

Пусть это слово не пугает тебя. Теперь священники, кто смелее, говорят об этом.

Ибо тайное становится явным.

Отвечаю:

– Ната, оказывается, там хранится один из самых любимых мною образов Богородицы – Сикстинская Мадонна.

Это удивительно! Мне словно напомнили о ней!”

К переписке нашей подключается Фатима Черчесова из далекой Осетии:

**– Как нам порой не хватает
вот такого взгляда на мир...
отбросить ум...**

родиться заново...
Мы живем...
значит, надо родиться заново...
прямо сейчас
только радость дает силы.
Преодолевай!
Боженька обрадуется!
только тебе дан Дар
Письма исцеляющего!
Знания,
с которыми ты пришла,
очень нужны нам!
Они
как коды жизни!
Пиши,
пожалуйста...!

Благословили меня. Благословили.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕЧЕРА

Стоило остановиться у окна и засмотреться в бокал хрустального вечера первого осеннего преддизья, чтобы внезапно открылось, нахлынуло простое и ясное: когда живешь так, что не знаешь, что будет в конце этого часа или следующего, и будет ли он, я не говорю уже о вечере, ночи и утре – я ничего о них не знаю! – когда живешь так, на краешке бытия земного, однажды вдруг открываешь, как чуден мир этот, как непостижимо чист и совершенен.

И легче дышится от красоты вечернего света, низошедшего на притихший вдруг Санкт-Петербург, от деревьев за окном, от промокших под недавним дождем плит, ряби хмурой Фонтанки, которую видно из кухонного окна в полукружье арки, там, за ней...

Петербургские вечера!

Я иду в гостиную, ищу что-то. Что? Ах да, "Ахиллесово сердце"! Отчего же в гостиной?

Я возвращаюсь в комнату, где теперь проходит почти вся моя жизнь, и знаю, еще не сделав шага навстречу: да они все здесь!

И Пастернак ("*рояль дрожащий пену с губ облизнет...*"), и Царскосельская Ахматова, в

туманах обаяния которой вызревают сестры Цветаевы, и Ирина Владимировна Одоевцева, тоже из "Цеха поэтов", держащая мою руку в своих сухих до горячечности, белых, невыразимой красоты руках, и молящая синева ее глаз, слитая с этими невероятными 90-летними руками: "Удержите их на земле..."

А! Вот он! К нему я шла. Андрей Вознесенский. Я никогда не простила бы его старческие восторги перед литовским "Саюдисом", если бы не он написал: "Аве, Оза! Пребывай светла..."

Почему? Почему никто не смог сохранить его голос полностью, весь? Зачем подменяют? Мне не понять.

Любят, наверное, поэтому пытаются сделать так, чтобы прозвучало утраченное.

Я тоже хочу слушать его "Озу". Им читаемую.

Петербург, Фонтанка

БАЛАБОЛОЧКА

Такая вот балаболочка была. На люди рвалась, а к людям – нет!

Появится, изумрудами невидимыми очарует всех и исчезнет.

Удивляется народ, что это было, откуда теплом несказанным потянуло, да вдруг исчезло все, словно ночная вьюга в незакрытую форточку-то всю избу выстудила?

– Да ладно, – скажет один, смешливый самый. – Это я на вас мороку навел, чтобы испугались немного да призадумались, да снова в пляс пошли. А то вон, носы-то повесили!

И растянет гармошку, да как ахнет по заборам да избам ко сну отходящим “Цыганочкой”!

И кто тут устоит?

Выпрыгнет в круг парень, кепку на затылок махнет – на чем только она там держится, сигарку в край рта сдвинет, да как протянет задорное:

– Э-эх!

И ладонями себя по груди стреляной да израненной, как запевочку на барабанчике проиграет, а там и ноги уже чуть что не вприсядочку, нет, рано!

Пава еще не вышла!

А вот, и она, сбросила шаль рукодельную подружкам на ладошки подставленные, вскинула подбородочек, обвела синими незаласканными глазами круг в живых оставшихся и...

И не пошла – поплыла!

Рукой тонкой грудь словно подперла – как бы, потому, что нет в русской пляске резкого, все на полутонах, полувздохе, недосказанности загадочной...

Пальчиком белым щечку разрумянившуюся подперла и – пошла!

Плывет Пава к центру круга деревенского, ни одна складочка на ней не колышется, только глаза все ярче да зазывнее, и вот, уже плечиком повела, платочек кружевной из рукава вынула...

А парень-то, парень!

Он вокруг Павушки и чечеточкой прошелся и вприсядочку к земле склонился, не касаясь ее вовсе, словно невидимая сила прикружила его к павушке, приморозила!

Эх, "Цыпаноча" с выходом! Как плясали вернувшиеся с фронтов, как жить хотели!

Небо улыбалось им во всю безбрежную синь, зори по горизонту посверкивали, а за по-

луночью и звезды сыпались, и заветные желания под их полет – “успеть бы!”.

Ах, как умели радоваться оставшиеся в живых!

А Балаболочка тем временем к окну прислонилась, звезд не видит – дробятся в зыбких глазах-озерах ее осенние звезды: не вернулся.

И молчит, как всегда.

И никто ее голоса, вроде как, не слышал, не помнил. Потому и дали ей, молчунье нелюдимой, прозвище такое – Балаболочка.

Но про нее другая песенка. Хватит и запевочки на сегодня нам, выжившим...

Санкт-Петербург

ТВЕРДЬ НЕБЕСНАЯ

В минувшую пятницу попали мы с Гузель под грозу.

Ну и что? – скажете. Мало ли гроз сквозь жизнь прогремело? Это правда. Но не оговорила я.

Нет, не в грозу угодили, а под грозу, как под каток, которым асфальт укатывают...

Гузель – человек особенный. Умная, нежная, и – кремень, если жизнь доведет – не столько своя, сколько та, что вокруг плещется и ввергает мою Гузель в свои омуты, из которых она всю свою молодую жизнь баб с детишками вытаскивает, потому, что профессия у нее такая – врач. Врач по деторождению.

Так вот, села Гузель за баранку своего серебряно-палевого “Судзуки”, поехали, говорит к супругу твоему дорогому.

А я этого момента полгода ждала. Да временами слезами умывалась – от пяток по макушку. Утонуть хотела. Да как бы нечаянно, чтобы не на мне грех – сердце-то долго не выдержит. Судьба, мол.

И не вспомнила, как в отпевальной молитве-то сказано: Господи, прости ему все его грехи – вольные и невольные, словом ли, делом ли, мыслью ли сотворенные...

Мыслью...

Да, Бога не обманешь. Он слишком велик и бесконечен, слишком всепроникающ, чтобы не увидеть даже такую соринку, как грешная мысль.

Опомнилась только тогда, когда чудная наша начальница 23-го почтового Санкт-Петербургского отделения, услышав в телефонной трубке, как я, задавленно и сквозь последние силы слова из слез вытаскиваю, упрекнула меня тихонечко:

– Что же это Вы, мужа-то слезами заливаете? Что же в слезах топите?!

И очнулась я.

...Доехали мы без сучка без задоринки – дорога сама будто несла нас, куда надо. И ни пробок, ни “крутых” – одни люди встречались вплоть до самых Литераторских мостков.

А после них совсем тишина и никаких помех. И до ворот Православного кладбища для Гузелиного “Судзуки” – полшага.

Припарковались и пошли.

И только ступили мы с ней под сень древних деревьев, как почернело небо, полоснуло у нас над головами синими молниями и ... разверзлись хляби небесные.

Сквозь ливень град рванул и туман от земли поднялся густой, как кисели и повис перед нами и вокруг нас. Словно в ловушку двух мышат захлопнул.

И ледяные потоки, опережая нас, неслись куда-то, собирая с земли белый град. Может, кто пожалел нас – чтобы не поскользнулись, да не напали на каменные дорожки Православного нашего кладбища.

Как промокли мы – слов нет. Ни зонты не спасли, ни каблучки высокие.

А мы по характеру-то с Гузель схожи, недаром дружно соседствовали в доме 55 на Фонтанке и их котенок Мурза подружился с нашим волчонком Региной, единственным со всего двора, кого приняла Регина как человека.

Так вот, упрямые мы обе. Отступать не любим. Кружим и кружим, как страшная гроза над нами.

На молнии не смотрим – они сами над нами пляс устроили. А что глядеть? Бежать некуда, и деревья вокруг такой высоты, что, ка-

жется, это за них гроза зацепилась. Потому и не уходит.

Мы тоже.

А нужную дорогу найти не можем. Нигде не видно моего простого креста цвета черной вишни. Нигде!

И чувствую, что свернула меня в жгутик безнадега.

И сразу навалилась смертельная усталость. Такая, что лучше сесть куда-нибудь и не дай Бог, шевельнуться: последние силы в тебе затихнут.

Раз и навсегда.

– Придется вернуться, Гузель, – говорю я.

Гузель посмотрела на меня сквозь ливень. А я ее и не вижу. Словно скрыли ее от меня чьи-то светлые мокрые пряди, белым жемчугом перевитые.

– Да, сегодня лучше вернуться, – Говорит Гузель. – Пошли.

Сказала, и начала сверток свой разворачивать.

И как только Гузель развернула огромный пакет, совершенно промокший под ледяной

июльской грозой, расцвеченной безумными синими молниями, рвущими деревья вдоль стволов, как гигантский небесный меч – сверху вниз, нас окутало облако невероятного запаха мокрых хризантем.

Словно хотели цветы защитить нас от поднебесного буйства.

Закоченевшими мокрыми пальцами делили мы букет на горсти и клали к чьим-то могилам. Как известно, с кладбища ничего нельзя унести с собой.

Их, казалось, так много, что потребовалась бы парочка добрых цветочных ведер, в которых перевозят только что срезанные цветы из питомников, чтобы сохранить всю их свежесть.

Но воды здесь было больше, чем нужно. И посуда, привезенная с собой, чтобы поставить цветы тому, кого мы не нашли, не понадобилась.

И всякий раз, наклоняясь к чьему-то покою, я вдыхала их стойкий, неопиcуемый запах.

Сложили мы цветы к разным могилам, принесенные для одного, не найденного, перекрестила я всех, упокоившихся в этой земле,

которая только с виду тиха и приветлива. Но если что не по ней...

Только отъехали — стихла гроза. Будто и не было. Будто и не мы это бродили по колесно в ледяном крошечке и не нас поливала огнем небесная русская твердь.

— Не приняло меня ваше кладбище, — вдруг сказала Гузель, — Не приняло. Мусульманка я...

— Глупости! — возмутилась я.

Гузель молчала, не отрывая глаз от шоссе, и косточки ее пальцев, держащих руль машины, были белыми.

...Больше мы с ней не виделись. Так уж случилось. Но с тех пор помнится мне запах тех хризантем.

Он и разбудил меня сегодня.

Было 4 часа, и в небе полыхал рассвет, словно кто-то разлил в нем сок грейпфрута.

Санкт-Петербург
2017

ВСТРЕЧА НОЧНАЯ

*Святой Блаженной
Ксении Петербургской*

Малахитовой медянкой пробиралась сквозь подножие камнепада, от самого его дна куда-то вверх и вверх, не желая ни жить, ни быть, потому что не стало на земле моих родных.

Но что-то заставляло. И то, что было прежде мною, тянулось-змеилось сквозь ледяную темноту меж камней, валунов и острых сколов в появлявшиеся тончайшие, невидимые пространства за лучиком кислорода. Откуда он там оказывался, как проникал?

Последней из погибшей моей семьи ушла собака. И однажды я решила, что хоть ее, но верну. И нас будет двое.

Каждый день в три часа ночи я выходила на улицы спящего Петербурга, кружила по задворкам, проникая в зарешеченные дворы, и негромко звала ее по имени:

- Джессика! Джессика!

И долго слушала, не откликнется ли моя последняя из ушедших.

Однажды ночью у мусорного контейнера в каком-то страшном тупичке вдруг появилась незнакомая женщина и сказала:

– Вы свою далматинку ищите?

– Да! – радостно сказала я. – Может быть, они ее не совсем убили? Может быть, выбросили где-нибудь, и она жива?

– Не ищите. Не надо. Идите домой и просто ждите. Собака сама вернется. Вы ведь на Фонтанке живете?

– Да! – снова радостно сказала я. – Сама вернется?

– Да, – сказала женщина. – Только Вы будьте дома и просто ждите.

Она мягко коснулась моих плеч:

– Идемте, я провожу Вас до Вашей арки.

Стояла белая ночь. Начинался август. Джессику убили полтора месяца назад. Я просто не ощущала времени...

Я поняла это тогда, когда совершенно чужие люди принесли мне в дом крохотную копию Джессики.

Это был Беби. Он умел плакать...

И снова внезапно, словно ниоткуда появившись, остановила меня на Набережной та, ночная незнакомка:

– Ну, как? – улыбаясь, тихо сказала она. – Нашлась собачка?

– Да! – счастливо ответила я. – Нашлась!

И побежала дальше, еще не вполне осознавая, что камнепад и жуткая трясина под ним, отпускают меня.

Санкт-Петербург

"ПЯТЕРОЧКА"

Сегодня а нашла "Пятерочку". Гастроном наш на углу Невского и Караванной закрыли на ремонт. Похоже, он откроется нескоро, или не откроется вовсе, или откроется опять что-нибудь глубоко запойное.

Я поползла по Караванной, совершенно интуитивно, как подраненная черепаха Троти-ла: было солнце, я в своем всегдашнем черном.

И тут я ее увидела и ахнула. Давненько я не видала столько уцененной пищи!

Но главное ошеломление было впереди, когда я выползла из этой самой "Пятерочки".

Сквозь набухшие неласковой весной ветви каштанов нежным светом оброненной перчатки светился прямо передо мной Замок Павла Петровича... Мы никогда не ходили к нему по Караванной...

Этот солнечный скверик окружен бюстами величайших архитекторов, создававших Северную Столицу - Росси, Кваренги...

А какой воздух был сегодня! На снимках это чуть отражается. И что же я не сфотографировала сияющий шпиль православного храма над замком Павла Первого?! Растерялась...

3 мая 2017

ПРОСТАЯ

– А отчество? – спросила я. – Или без отца родилась?

– Нет, почему же! – смутилась она.

– Не уважаете? Почему без отчества-то?

– Да мы простые, мы так, без отчества.

Была она, как большинство вокруг к своим сорока годкам, кругла, болезненно грузна, прихрамывала от тяжести собственного груза – кости слабые, что сплошь и рядом при нашей безобразной питерской воде, похожей на сливы кислотных дождей, текущих почему-то из крана, да отвратительных продуктах.

“Простые мы...” Ничего унизительнее не услышишь. Недаром говорят, иная простота хуже воровства...

И так было пару недель, хоть отчество я у нее выведала, да забыла. Не было у нее отчества. Такой вот человечек. Вес с центнер, но без отчества.

Зато характер был. Железный. Во всем проглядывал – в прорези колючих глаз, во внезапном недобром румянце, даже в привычке легко соврать, поскольку я для нее не была из своих, простых...

Дальше прихожей не проходила – временная помощница, и я ждала, чтобы время это поскорее кончилось. Потому, что любила она поговорить, повыведывать, щупальцами по душе поскрести. Простая такая вот.

Разговоры я обрывала, зная, что обидой отложится, но не могла иначе. Были тому свои причины. Да не об этом я.

Вчера пришлось мне пригласить ее в гостиную. Она вошла и замерла.

– Садитесь, – говорю.

Тяжело опустилась на диванчик, а перед этим спрашивает:

– Это... рояль?

– Что? – говорю.

А она смущенно так:

– Это рояль?

– Да, – говорю, а сама о главном думаю – о том, что сегодня оплатить ее визит денег у меня, кажется, не хватит...

Ну, закончили расчеты, квитанции она мне какие-то выложила и уже поднялась, как вдруг говорит:

– Как у вас хорошо! Как в музее.

– Что?

– Как в музее у вас тут, – говорит. – Как в музее. Книг-то сколько! А картины какие. Не-обычные.

– Да что Вы, – говорю.

И тут же отчество ее вспомнилось: Николаевна. Царское отчество.

Распрощались. Ушла моя Николаевна. А я подумала: сколько людей тут перебивало, а только одна из всех, “простая” русская женщина, поняла смысл гостиной, в которая третий год уже не гостиная, а тихая поминальная.

И подумала я: “Вот они какие святые-то наши, не святые которые.”

Санкт-Петербург

КИКИМОРКА

Жил-был человек. Двумя ногами на земле стоял, и голову его оведала прохлада.

И одет он был в латы.

И в руке его был меч готовности прийти всем слабым на помощь. И победить.

И не было ему в этом равных.

Но однажды заспорили три женщины.

Одна сказала:

– Пора остановить его! Скоро он не оставит нам места для наших дел!

– Да! – вскричала другая. – Давно пора!

И, хихикнув, плюхнулась в зеленую тину.

– Эх, – сказала Русалочка. – Что ты понимаешь в воинах, сестра Кикиморка!

И мечтательно покачалась на ветке.

Только Бабка-Ежка все знает, сказали женщины. Давайте ее спросим.

А Бабку-Ежку и звать не надо, она уже тут, на полянке приплясывает.

– Есть, девки, – говорит им. – Есть одно средство воина-то укротить.

– Какое?

– А окуните его в беду.

Задумались было над странным словом.

– Как это? – спрашивает Русалочка и ножкой покачивает.

– Да просто. С детей его начните.

– Во-во! – Проквакала радостно зеленая Кикимора. – Беда нужна! А беда одна не приходит!

– Да, – говорит Бабка-Ежка. – В этом и суть! С детей начните. В них – половина его силы. А вторая – в женушке его Прасковее. Слышь, Русалка, это по твоей части на Прасковею морок-то напустить...

– Заметано! – сказала Русалочка. И перепрыгнула на соседнюю ветку.

Сказано – сделано.

Налетели на Русь ветры злые, как в песне. Стон стоит. Ослаб было народ.

... Слушала-слушала я, да и заснула. Проснулась оттого, что смотрю, – огонек какой-то под лесенкой в углу коридора.

Пригляделась, а там девчоночка сидит.

Махонькая такая, синевой та тенями ночными окутана. А на коленях у нее книжечка, как маленькое солнышко светится. То ли пишет, то ли читает малявочка-то.

Я к компу – дай, думаю, сохраню эту картинку, на которой девчоночка эта волшебная. И проснулась.

А из головы девчоночка та все не идет. Будто вспомнить, что надо, а не могу. Бывает так вот...

И вспомнилось! Говорят люди, будто это внушка Воина того Доброго, злыми людьми загубленного, является иногда. Уцелела, стало быть.

Санкт-Петербург

СУМАСШЕДШАЯ

Ходит у нас на Фонтанке странная старуха. Не горбится, не сутулится. И взгляд ясный. Только вот улыбается.

Вокруг разные люди. И рыбаки с утра на солнышке висят над Фонтанкой, и веселые молодые узбекские дворники кучкуются в редкие минуты отдыха у воды, и стайка бомжей спуск к реке уже заняла.

Газетки мятые разворачивает, на брусчатку стелет, бутылочки вынимает. А мешки, с непонятно чем, каждый к себе поближе держит. Так, на всякий случай. Дружба-дружбой, а табачок врозь! Что-то жуют, чем-то запивают, битыми-перебитыми опухшими испитыми лицами к солнцу тянутся, щурятся.

Люди их стороной обходят. Что и говорить, страшные они. Даже с виду.

А она — нет, не обходит. Идет себе, как шла, улыбается.

Да еще и извинится перед ними чуть слышно: простите, дескать, трапезе вашей мешать не хотела...

И улыбнется так... виновато, что ли...

А они кивают важно, с чувством не пропитого достоинства — ничего, мол, ладно, чего уж там...

И тоже улыбаются.

Никогда никого рядом с ней я не видела. И голоса ее даже не слышала. Только вот улыбка эта. Идет человек один. И улыбается. С чего бы это?

Народ и говорит: да того она... Сумасшедшая.

Так и прилипло.

А однажды пошли мы на Апрашку. Купить, чего подешевле.

Смотрим, наша старуха остановилась перед какой-то лавчонкой, смотрит вниз, на что-то пальцем показывает и говорит внятно так:

— Уберите! Плохое тут у вас. Уберите!

И пальцем вниз на что-то показывает.

Смотрим, а там, рядом с лавчонкой люк канализационный, вода журчит.

— Уберите это! — говорит старуха.

И голос у нее ровный, спокойный. Царственный голос-то. Без суеты.

Молодуха чернявенькая из лавчонки выскочила, взглянула, куда старуха наша показывает, руками всплеснула:

— Я сейчас!

И убежала вглубь лавчонки.

Через пару секунд возвращается. Да не одна. С мужиком. Спокойный такой. Чернявенький. Лет сорока, а может и пятидесяти, кто их поймет? Нездешний. Южный человек.

Старуха наша говорит ему:

– Ты хозяин?

– Я, – отвечает.

– Ты и убери это! Кто-то плохо тебе сделать хочет. Всю твою судьбу покорезить хочет. Убери. Плохая это примета.

И пальцем вниз показывает.

Смотрю я, а там булавка лежит. Перекрученная как-то странно, да застегнутая. И головкой как раз в центр лавочки закручена. Как бы замок положен поперек дороги к ней, к лавочке-то.

Странная булавка-то.

Молодуха мужчине что-то по-своему говорит. Горячо так, торопливо.

Он булавку-то возьми и подними.

А старуха голос даже повысила:

– Не хватай ее тремя-то пальцами! Бросай вниз, в воду! Видишь, вода там течет!

И показывает на колодец, решеткой ржавой прикрытый.

– Не верю я, – говорит мужчина.

А молодая как загорячилась, русские слова с нерусскими мешает:

– Делай, – говорит, – отец, что тебе сказали!

А мужчина как закаменел. Заметила я, что лицо у него все в шрамах, словно горел он, да спасли...

– Не верю, – твердит. – Не верю я.

– Бросай в воду, отец! – кричит молодая. – Бросай!

Он и бросил.

Засмеялась наша старуха и пошла было, а через пару шажков обернулась, смеется:

– Знаю, что не веришь, – говорит. И улыбается. – Только себе да Богу веришь, так?

– Так, – кивает обожженный-то.

– Знаю, – улыбается старуха. – Только, может быть, сам Бог в образе смешной старушонки-то сейчас с тобой разговаривал, а? Не веришь?

И опять засмеялась. Легко так. И исчезла...

Стоим мы все, признаюсь, слегка ошеломленные. Вода в канализационном колодце журчит. А мужчина все вслед нашей Сумасшедшей смотрит, словно чем пораженный.

И заметила я, что лицо у него посветлело и шрамы разгладились. А, может, их и не было вовсе? Может, почудилось мне?

Санкт-Петербург

ЖИВОЙ ХЛЕБ

Наверное, в этот час начинают молитву в русских монастырях. Просыпаешься оттого, что словно и тебя позвали, и ты идешь на этот зов, за своей душой плетешься, слабый и немощный. От нее – силы.

Матушка Серафима как-то сказала мне негромкой своей скороговорочкой:

– Знаете, чего я боюсь? Умру, а помолиться некому будет...

– Как это некому? – удивлялась я.

Не поняла я тогда тревоги ее. А она говорила:

– Страшно, когда на земле последняя молитва прозвучит.

И тогда я не очень поняла ее слов. Смеялась:

– Да что Вы, матушка Серафима! Не бывать такому! Чтобы кто-нибудь да не помолился!

Посмотрела на меня глубокими синими глазами, словно плат на голову мне накинула – легкий, да великий. С ногами укрыл меня.

Как тот, который постелила я вдоль ступенек Лавры напротив каменного красноармейца с надписью на странном языке, которого мы не знаем, дав себе слово никогда сюда не возвращаться, пока храм не освятят.

Сочла место это проклятым, поганым, потому, что, когда я тихо молилась, двое мужиков, тащивших, кряхтя и пыжась, какую-то тумбу, ударили меня ею, да так, что до сих пор болит это место и хромаю я с той минуты.

Еще и рывкнули:

– Чо стала-то? Не пройти-не проехать!

– Молюсь я, – тихо так ответила, не споря.

– Молится она! – рывкнули, как ударили.

А зал пустой огромный, хоть на телеге, хоть на тракторе. Это надо было постараться, чтобы человека, одиноко стоящего, так зацепить.

Оглядела я их – маленькие какие-то, корявенькие, черненькие, а лиц не видно.

Все выются вокруг этой тумбы, да не дается она им что-то. Вот и злятся.

Развернулась я и пошла к высоким воротам, не оглядываясь. А сбегая по ступенькам, перекрестилась, правой рукой сняла с себя тот воздушный небесного света плат и опустила вдоль ступеньки, чтобы добрые люди через него не перешагивали.

И, не поверите, лег этот плат так, словно родился здесь, словно ждали его ступеньки к храму ведущие...

Давно это было. Много лет прошло. И в Лавре нынче по-иному. А случилось так.

Сынок мне приснился и говорит, ни слова не произнося, но я все понимаю:

– Мама, я кушать хочу.

– Сейчас-сейчас, сыночка! – говорю я ему и побежала куда-то, а там поднос, а на нем не то куличики маленькие, не то что-то на них похожее, белым не то кремом, не то поливкой какой-то – сплошь покрытое.

Беру я поднос этот и бегу к сыночку.

А ему уже лет пять, но стол для него великоват, и помещение какое-то преображенное. Непонятное.

Не то столовку школьную краешком показали мне, не то в храм великий столики светлые внесли.

Но мне не до этого, не до разглядывания.

Подбежала к сыночку-то, а он посмотрел на поднос-то и говорит – опять без слов – говорит-то:

– Это то, о чем я мечтал, мама! Я знал, что ты принесешь!

И личико у него светлое, радостное.

Утром просыпаюсь и бегом в ту самую Лавру. Потому, что поняла, сынок там меня ждал...

Прибегаю, говорю женщинам – так, мол и так... Такое вот приснилось. Сынок у меня голодный. Да только как мне накормить-то? Не на этом свете он, не на этом!

А одна спокойно так говорит:

– Ты, матушка, иди пока записочку за упокой души его подай, а потом к нам, за просфорочкой.

Я так и сделала.

Просфорочку мне дали. В белой бумажке она, как в розеточке. Держу, а что делать, не знаю.

В это время старшая-то возвращается откуда-то из глубины храма, светится лицом-то вся:

– Дай-ка, матушка, просфорочку, я ее к батюшкам прямо отнесу.

Протягиваю я ей, а матушка мне в руки что-то в белой салфетке кладет.

– А это тебе, – говорит. – От батюшек наших подношение. Только съешь сама, птицам не скорми!

Удивилась я такому предупреждению. Но дар приняла. И показалось – не по мне ноша, одной столько!

В двух ладонях едва умещается. Прижала к груди, чтобы не рассыпать, гляжу, а матушка та уже убежала.

А мне уходить почему-то не хочется.

Брожу меж ликов иконных, люблюсь ли, молюсь ли... Подарение, сестрицей мне переданное, к груди прижимаю, забыла о нем.

Только в какой-то момент показалось мне, что руках у меня младенец шевельнулся.

Теплое тельце его живое в руках у меня!

Развернула салфетку, а там хлебушко темный, маленькими квадратиками нарезанный...

Взяла кусочек, положила в рот, вспомнила про строгое матушкино наставление.

Пошла дальше вдоль образов. У кого постою, кому расскажу, а кому поклонюсь просто.

И не заметила, как закончился у меня весь хлеб.

Но вот что странно. С тех самых пор стоит мне сложить ладони так же, как тогда, возникает в них отчетливая теплая тяжесть живого младенца.

*12 января,
Санкт-Петербург*

ТАЛИСМАН

История эта выглядела бы совершенно мистической, если бы не произошла с нами наяву, в обычное сырое декабрьское утро странной этой зимы, той самой, в которой все, бытующие от преображенных мест “убого чухонца” до светлой Тавриды и Русского Крыма, напрасно ждали снега, хотя бы на Рождество.

Мы спешили в Куйбышевский райсуд, чтобы попытаться распутать очередной завиток изощренной на хитросплетениях типа “ум за разум спотыкнулся”, двуликой, по сути, и слепой Фемиды, незаконнорожденной дочери Ха-

ма и Януса (о чем все знали, но никогда не произносили вслух). Едва свернули мы с Невского за угол, как еще издалека увидели у дубовых дверей ее обиталища немалую толпу, чего никогда прежде не было.

Но еще до поворота произошла у нас с Ириной странная встреча, без которой, быть может, ничего бы и не случилось.

Дело в том, что нас остановил Некто, произнеся тихим голосом:

– Простите!

Ирина уставилась прозрачными зелеными глазами на то место, где прозвучало это странное, виноватое тихое “простите”, и, ничего не увидев, подняла очи к спящему еще небу, капризно прошипела, не шевеля губами:

– Пошли! Не тормози, слышишь?!

А я уже остановилась и видела, как из полумрака притушенных к утру фонарей на Невском проявляется бледное овальное лицо, синие ласково-виноватые глаза, а потом и силуэт.

Это был мужчина, словно только что сошедший с профессорской кафедры, аккуратно одетый в старенькое поношенное, но тщательно хранимое одеяние. Особое поколение. Я всегда

узнаю каждого из них. Это их отцы отстояли Победу. Многие из них остались вечно юными в землях и лесах, гоня впереди себя черный вал напавшей на нас 22 июня 1941 года саранчи. Но победили! И это их малышей, оставшихся с матерями да бабками в своем сиротском детстве, называют теперь "Дети Войны".

И до того, как он произнес следующую фразу, я уже расстегивала сумочку, замки которой давно переломались и закрыть или открыть ее для меня, привыкшей за всю свою прошлую жизнь к безукоризненно изящному, было двойной пыткой. Если бы были живы мои мальчики, всякий раз думала я, пробиваясь через процедуру вскрытия сломанных молний, я давно бы выкинула эту сумку! И слезы наворачивались на глаза, и жгли невозможностью что-то изменить в этой ненужной мне жизни.

— Может быть, Вы могли бы... — тихо произнес странный прохожий, и я снова споткнулась о теплую виновато-пронзительную синеву его глаз, увидев в них всю свою распроклятую жизнь и внезапно ощутив, как этот человек голоден.

– Сейчас-сейчас, – говорила я, разрывая замерзшими пальцами молнию. – Сейчас-сейчас.

И протянула ему единственную имевшуюся у меня на случай, если придется проехать троллейбусом, хотя бы в одну сторону, синюшную бумажку в 50 рублей.

– Простите, что мало, – сказала я. – Но у меня больше нет.

Мне не было стыдно. Мне было просто горько. Я понимала, как это нечеловечески мало, и что никто из доброго десятка-другого встречных ему не поможет. Да и не к каждому такой человек обратится. Вот, беда-то в чем. Не к каждому!

Ирина рванула меня за угол, приговаривая:

– Зачем вы ему последнее отдали?! Он пропьет это в первой рюмочной.

– А это его право, Ира, – сказала я. – Считай, что я за сына помолилась.

И тут мы увидели толпу у дверей кривой Фемиды и слились с ней.

Толпа глухо ворчала.

– Что-то случилось? – спросила я.

– Да бомбу ищут, вот нас всех и выставили,
– ответил кто-то.

– А судьи? – спросила я и искала знакомые лица в толпе.

Знакомых не было.

– Да там судьи, – сказал кто-то.

– С бомбой? – изумилась я.

– Ага, – усмехнулся кто-то рядом.

– Ой, – сказала я. – А вдруг рванет? Как же они там?

И добавила, не понимая, зачем и кому:

– Мои вот погибли. Оба. И сын. И муж.
Страшно это.

Я все еще была не в себе.

– ДТП? – спросил тот же голос.

Только насмешки уже не было. Я до боли прижала ладони к губам. Я не хотела *это* обсуждать ни с кем. Не могла.

– Ничего, – сказал тот же человек. – Ничего.

Я посмотрела на говорящего. Он был одет очень просто.

Так одевались у нас, в том краешке моего сибирского детства, которое прошло среди НКВД и зэков, почти все мужчины. Так одеваются сейчас миллионы.

Я видела, как он сунул руку за пазуху и протянул мне какой-то крохотный квадратик:

– Возьмите, как талисман. Я понимаю, это не деньги! – словно секундная судорога передернула его лицо и исчезла.

– Возьмите, как талисман, – очень тихо повторил он.

Я прижала квадратик к губам и сказала:

– Я буду считать, что это мне от Бога, – я подняла руку к сереющему небу. – Я буду беречь его.

Он улыбался одними глазами.

В это время двери Фемиды приоткрылись, показалась овчарка, за ней кинолог. И вскоре нас небольшими порциями начали впускать в жилище Слепой Тетки.

– Надо же! – сказала Ира. – Ваши 50 рублей-то к вам вернулись!

– А ты откуда знаешь? – спросила я. – Рассмотрела, что ли?

– Рассмотрела! – она странно улыбалась. – Вот чудо-то!

Санкт-Петербург

АД ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ

*(Из записок светлой памяти
сына моего Антона Талалаева)*

И стали ночи мои пусты и страшны.

Если бы я попытался объяснить самому себе, отчего, то едва ли решился бы на это. Почему?

Не решился бы потому, что прозрачным стало все, что предстоит мне. И это, предстоящее, было столь страшным, что назвать его, обозначить словами даже для себя, я не хотел. И не заметил я, как ночи перешли в дни, и время слилось в ожидание.

Одного только хотелось мне: успеть сделать хоть что-то хорошее для этих двух бесконечно родных мне людей, которые были рядом и которые еще не знали, как скоро это оборвется.

ЧАСТЬ 1. Чудо Георгия о Змии

Снова стали появляться знаки. Все чаще и яснее.

Однажды, открыв дверь к себе в комнату, я увидел, что она заполнена странным дымом.

Он был без запаха, без той удушливой горечи, которая чувствуется задолго до того, как увидишь нечто горящее.

Но он был такой плотный, что сквозь него ничего не было видно.

Ничего!

Где-то в глубине комнаты у рояля затих, притаился невидимый, – живой ли еще? – Кирилл Владимирович.

Я распахнул окна.

Было так темно, что казалось: протяни руку – пальцев не разглядишь.

Вошла Ма, бросилась к Кире, точнее, к тому месту, где он обычно дремал, протянула руку. Он, невидимый, учуял ее в сплошных густых клубках дыма, прыгнул на ладонь и быстро засеменил по руке, вонзаясь в нее тонкими острыми коготками, добежал до плеча и прижался к шее Ма.

«Живой, – радостно подумал я. – Живой!»

Огня нигде не было видно.

– Я сейчас, – сказала Ма. – Только унесу Кирюшку.

Она вернулась очень быстро, включила свет.

Мой рабочий шкаф, с вместительными ящичками для всего, что мне может пригодиться

– инструменты, запчасти для компов, платы и т.д., шкаф, за это свое свойство, свою особую вместительность, позволявшую не превращать хранение самых разных вещей в хаос, и удостоен был чести находиться здесь.

В верхнем его ящике я хранил и канифоль для скрипичного смычка, и драгоценные кусочки пайки, подаренные мне вильнюсскими полиграфистами, – любимый и надежный шкаф, вмещавший все мне дорогое, был обуглен по центральной крестовине – слева и справа от стоящей на ней всегда иконы Георгия Победоносца.

Огонь, обугливая древесину, из которой был добротно сработан шкаф, дошел, превращая все в черный уголь, до Георгия, проскользнул под ним, не задев, и лизнул треугольным, отчего-то вдруг ослабевшим языком пламени низ иконы.

И на краешке иконы, в самом ее центре, навсегда остался след этого пламени – выжженный угол с обугленными краями, похожий на зуб акулы, которому не удалось дотянуться до образа...

«Чудо Георгия о Змие» – так называлась эта икона – точнее, ее образ, тщательно сотворенный из репродукции, вырезанной из како-

го-то иллюстрированного журнала, и заботливо и прочно наклеенной на дощечку, – образ, какие, тайком от атеистически настроенных властей, хранились во все времена гонения на веру во многих русских избах, этот хрупкий образ остановил огонь.

Это было чудно и необъяснимо.

И то, что не было запаха гари, и вал дыма, забивший комнату – так бывает перед тем, как вспыхивает пламя, которое пожирает все, что есть на его пути.

Но что-то оказалось сильнее его. Что-то погасило.

Дым вытянуло в окна. Обугленную крестовину шкафа – поперечную несущую толщиной с кулак – я тщательно пролил водой.

Ма прижимала к себе икону Святого Георгия, а она, надо сказать, не была обычной!

Юноша на золотом фоне в развевающемся алом плаще верхом на белом коне в роскошной, волшебной разукрашенной сбруе, привстав в стремях, тонкой пикой пронзал пасть Змия. И глядела на пораженного Змия со щита юного воина страшным, все

*превращавшем в камень, голова Горюны Ме-
дузы.*

Ма долго всматривалась в образ святого, потом тихо прикоснулась губами к прожженному краю, сохранившему форму языка пламени.

– Это он спас?

– Да, – сказал я. – Он победил.

На плече Ма сидел молчаливый Кирюшка, и цвет его был горчичный. От алого клюва, до краешка длинных обычно сапфирового цвета хвостовых перьев он был тускло-горчично желт.

– Чего же ты молчал? – спрашивала у него Ма. – Ты почему не звал нас?

Кира переминался у нее на плече и не произносил ни звука.

– Пойдем, – сказал я ему. – Пойдем-ка купаться!

Птиц прыгнул ко мне на плечо, и мы с ним отправились в ванную комнату, прихватив с собой его любимую ванночку.

Мы больше никогда не говорили между собой об этом случае.

Не было в нем ничего зловещего, скорее наоборот.

Поэтому и молчали, пока не произошло нечто не менее странное и символичное.

Часть 2. ЧЕРНЫЙ ГОЛУБЬ

Однажды рано-рано, так рано, что уже вроде бы не ночь, но и не вполне утро – солнца не видно, а так, чуть развиднелось, растаяла ночная темнота перешла в белесый туман, Ма проснулась от того, что кто-то пристально, в упор, не мигая, смотрит на нее.

Она открыла глаза и увидела прямо перед собой на прикроватной тумбочке черного мокрого голубя.

— Привет — сказал она ему. — Что случилось?

Голубь опустил на лапы и все глядел на нее круглыми немигающими глазами.

— Ты болен, — сказала Ма. — Тебе нужна помощь. Тогда сиди здесь и жди. Я схожу за Младшим. Лучше него тебе никто не поможет.

Голубь прикрыл глаза, словно задремал.

— Вот и хорошо, — сказала Ма. — Сейчас я позову Младшего. Ты подожди немного здесь.

Надо сказать, что до этой самой секунды она, разговаривала с птицей, не двигаясь.

Лежала в том же положении, в котором разбудил ее птичий взгляд — то ли сон, то ли явь, то ли полудрема...

Но она не думала об этом. Поговорила, потом просто поднялась, накинула халатик и побежала в комнату Младшего.

Было очень рано.

Весь декабрь сумерки лежали на Городе чуть не до полудня, ненадолю светлея, снова погружали Санкт-Петербург в сырой, плотный морок.

По-прежнему в тот последний декабрь уходящего века не было снега.

И воздух, казалось, — всегда черен.

И нечем дышать...

Но и в таких условиях люди как-то жили, двигались, думали и говорили, стараясь молчать о том, что было самым больным и безнадежным.

По русским снова прокатилось безжалостное колесо истории, в очередной раз запущенное кем-то, о ком они и думать не хотели.

Я уже не спал. Выпукло светился древний монитор, прогоняя какие-то тексты. Я вчитывался в них, что-то иногда помечая, приторма-

живая, откладывая в цитатник ссылочкой, по которой нетрудно будет найти первоисточник.

«ГолДед» трудился во-всю, и Ма подумала, сколько же парней по всей стране — от Владивостока и Казахстана, от Чукотки и до Прибалтики и дальше, дальше — вот так же не спят, исполняя бессонную свою работу, не получая за это ни гроша и не копейки, ради только награды, выше которой нет — сохранять в людях и самих себе чувство причастности к тому великому, сжигающему нутро до горячего пепла, что называется Родиной.

— Там птица пришла, — сказала Ма. — Ты бы посмотрел. Больная она, похоже.

Я пристально всмотрелся в лицо Ма. И вдруг отчетливо понял, что она даже не думает о том, что птица пришла за мной.

Словно ослепил кто, олушил, оттородил ее от такого ясного мира, в котором мы всегда существовали вместе.

Что-то разладилось.

Я подошел к черному голубю. Тот даже не шевельнулся. Я взял его в ладони, взглянул на лапы, сказал:

— Да ты совсем простужен! Придется лечиться.

Ма устроила в эркере что-то вроде гнезда, поставила блюдечко с водой.

Птица не шевелилась.

Ма пристально посмотрела на голубя, поняла, что он поправится и улетит. И больше ее эта история не занимала.

Только иногда, сидя со мной за кофейным столиком, она словно спотыкалась о мой взгляд на птицу.

Наверное, слишком внимательный, слишком...

Прошло несколько дней, был тихий вечер.

Па был уже дома и поэтому, по давней семейной традиции, мы сидели вокруг журнального столика, пили привычный черный кофе, изредка переговариваясь.

Было легко и покойно.

Легкий шум в эркере заставил всех оглянуться.

Голубь стоял на небольшом валике, которым отгородили эркер от комнаты, и глядел на нас.

Мы видели, как он спрыгнул и уверенно пошел по древнему дубовому паркету вроде бы к нам, не спеша и не суетясь.

Но с полпути его к столику мы все отчетливо поняли, что направляется он ко мне.

— Странно, — сказала Ма. — Странно, почему он пошел не ко мне?

А голубь подошел ко мне вплотную, вспрыгнул ко мне на колени, притих.

Через несколько секунд он поднялся, взглянул в мне в лицо, повернулся и прыгнул на колени к Па.

И тоже задержался на несколько секунд, словно прощаясь, а потом перепрыгнул на колени к Ма.

— Ну что, — сказала Ма. — Поправился?

А голубь, совершенно бесшумно взлетел к открытой форточке и исчез в черном декабрьском сумраке.

Мы молча проводили его взглядом.

Странная тишина повисла в комнате.

— Я сейчас тут все уберу, — сказала, поднимаясь из-за стола, Ма.

Быстро прошла к эркеру, также быстро скакала то, что служило черному голубю лежанкой, и вынесла из комнаты.

Вернулась, под села к столу, взяла свою чашку кофе:

— Наверное, — безмятежно сказала она. — Он из голубятни на крыше...

Неожиданно позвонил академик Углов:

– Мне нужна Ваша помощь.

– Да, да, конечно.

Федор Григорьевич — человек легенда, фронтовой хирург и основатель общества трезвости в далекие 20-е годы.

Маленький, сухой, сдержанный, он прожил уже почти сот лет, имя его занесено навеки в книгу Гиннеса, как вечная память самому великому и возрастному хирургу на планете.

Но, строго говоря, Федор Григорьевич был настолько уникальным человеком, что будь моя воля и талант, я написал бы о нем так, чтобы люди увидели его. И запомнили. Навсегда. Как помнят Авиценну, Гиппократы...

Может быть, древние умели ценить лучше, чем мы? Ценить, любить, помнить?

Может быть, человечество не совершенствуется, а деградирует и совсем скоро его заменят собой мыслящие моллюски?

Федор Григорьевич задумал новую книгу, а у меня работы было не так много, чтобы отказываться. Практически, ее не было вовсе: я все еще мысленно находился там, на Лебедева, хотя на деле это было совсем не так.

Меня выбило встречным ветром из того черного кокона, в котором я пробыл бесконечные две недели, и теперь я словно висел в окне мчащегося поезда по ту, внешнюю, сторону вагона, и навстречу мне, как нескончаемый бесконечный удар, дул ледяной встречный вечер.

И кончики пальцев рук моих, которыми я зацепился за металлический обод вагонного окна, окоченели настолько, что я их уже не чувствовал.

Я не замечал, что ложась спать, всегда застывал на спине, в одной и той же позе – строго по центру дивана, поджав ноги, – так чтобы они не выходили за пределы шконки, хотя и понимал, наверное, что не она теперь подомной, но инерция пережитого заставляла меня подсознательно опасаясь коснуться чего бы то ни было.

Даже во сне я сохранял подверженность тюремному закону – не нарушать границ моей части шконки, не двигаясь, не шевелясь, чтобы не коснуться чужого.

Так меня научил Пахомыч, странный человек, чьи уроки спасли меня от всего, что могло бы произойти с новичком в камере.

Из-за нехватки мест спали поочередно, — одна шконка на двоих, каждый на своей части и в свое время.

— Рай, — смеялся Пахомыч. — Это рай, Малыш.

Я понимал, что рай этот создал он сам.

В других камерах не догадались поделить время.

Однажды Ма разбудила меня полувопросом:

— Ты странно спишь. Слишком скованно. Тело не отдыхает. Иди, отлежись в ванной и никогда больше не надевай прежней одежды. Я приготовила все новое. Возьмешь в ванной.

И засмеялась: ты уже два дня как дома, Малыш, слышишь? Два дня!

Вот только после этого и сошла с меня «лебедевская окалина».

Но по-прежнему ночи мои становились адом. И всегда спасали меня книги. Это Ма научила меня этому.

... Тогда Ма дала мне книгу, и я читал почти всю ночь. Сколько мне было? Лет девять. Вечером, придя с работы, Ма спросила:

— Ну, как книга?

- Интересная, — сказал я.
— Ты ее понял?
В ее голосе было легкое изумление.
— Да.
— Ну, и? Стоит мне почитать?
— Да, Ма. Тебе-то как раз и стоит.
— Почему?
— Увидишь сама.

Хибины зацветали яркими мхами, и снег сошел почти повсюду...

Как давно это было. Как давно!

С тех пор было перечитано сотни прекрасных и умных книг. Но с этим текстом я никогда не расставался. Была в нем какая-то загадка, и мне хотелось ее разгадать...

Я снова почувствовал, что приближается Ад, отбросил все и погрузился в вечное.

Часть 3. ЕРШАЛАИМ

«...Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого...

...И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое леионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи...»

Тридцати трех. Я мысленно поправил текст. Впрочем, многие утверждали, что 33 — лишь метафорическое округление: Бог троицу любит. Ему было 34. И Булгаков знал это. Но промолчал.

И снова я подумал:

— Зачем?

«И в этом ты ошибаешься» — повторил я, вновь потрясенный точностью мысли, переданной гением: «...согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?..»

И заснул.

Часть 4. УРАГАН

И снова была ночь, и ветер небывалой силы гремел по крышам Города, словно вселенское зло обрушилось вдруг на дельту Невы, дома и

улицы, разметая по дорогам седую ледяную порошу.

И струились, змеились в диком танце торжества зла нечеловеческого, хлестали по людям ледяные ведьмины косы...

— Голубь, — думал я, — этот черный голубь... Значит, у меня еще есть с полгода...

Я знал, что и эта ночь для меня спокойной не будет. И понимая это, стараясь не думать, не заглядывать в события, которых еще нет, поднялся с кресла, подошел к книгам, взял любимую.

«...Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью...»

— След удара в лицо, запекшаяся кровь... — мысленно, прикрыв веки, повторил я. — Да-да... Следы ударов...

Я прикрыл глаза. И проплыли передо мной другие строчки, начертанные древней славянской вязью:

"Что спрашиваешь меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил..."

Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?

Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?..”

Так вот, почему была кровь на лице Его, подумал я, вот откуда она...

А что было дальше?

И послали Его иудеи — связанного и избитого, — уже не видя в Нем человека, не видя ничего, кроме жертвы, да-да! — к первосвященнику иудейскому Кайафе.

Для них Он уже был по ту сторону жизни, которую определяют они, иудеи только жертве.

И отправили Его. Чтобы соблюсти все формальности.

Не было для них ничего важнее в эту пятницу, чем соблюсти каждую трещинку Формы. Потому, как знали, что делали!

“От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.

Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сею?..”

Евангелие от Иоанна (21-24; 28, 29)

Я сжал тонкими пальцами рук переносицу, чтобы отогнать видение и снова открыл книгу:

«...Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...”

...Кто из наших говорил так всегда и каждому? Митя.

Ну, конечно же, Митя! Высокий, насмешливый, но чаще всего спокойный и невозмутимый, как белый гипсовый сфинкс, — Митя никого не называл иначе.

Конечно же, Булгаков! Да древняя семейная привычка.

Да неистребимое влечение к тайнам, зарытым, замурованным по всему Петербургу, — в

стенах домов, облицовке рек и каналов, под старым паркетом, под черной чугунной краской сооружений, к которым ненадолго привязывали каретных лошадей...

Митя чуял их кожей, нюхом, как натасканный на утиную охоту пес. Впрочем, их присутствие чувствовали многие...

За окном почернело внезапно, словно оборвал кто-то все провода над Городом, или Некто всесильный, от делать нечего, просто так, в полном безразличии к судьбам окружающих взял да выключил все электричество.

И еще явственнее стал шторм, налетевший с Балтики, еще отчетливее и невыносимее его нечеловеческий голос.

Словно густой бас развлекался, надувая щеки и прогоняя утробный воздух сквозь космическую раковину. И еще беззащитнее и тоньше стали голоса рвущихся на ветру деревьев, еще звонче и назойливее стук и скрип отрывающихся кусков жести о крыши.

И все-таки, подумал я, прислушиваясь к урагану за окном, есть в этом разладе своя необъяснимая гармония. Ее хотелось слушать. Наверное, для того, чтобы понять

из чего же возникает она в хаосе случайных звуков?

Из какой невозможности беспорядочного нагромождения несовместимых звуков, создающих этот жуткий, неестественный черный грохот, вдруг возникает великолепная мелодия неземной, космической, всеохватывающей силы?..

*Санкт-Петербург
2000 г.*

ПРИТЧА

А песок на заливе обманчиво-желт. И холодные ночи в него закопались. Им-то что? Они к снегу готовятся.

...и выпал мне жребий одно выбирать: жить долго, остаться смешливой и быстрой, или, скорчась от боли, бедой же писать, обжигая душу ее огнем негасимым.

И второе я выбрала. Счастьем звала.

Потому, что по жребию был и подарок: отказавшись от жизни, вернуть навсегда человека, которого в землю забрали.

И шепнули: с лукавыми бой предстоит. Победишь – сын вернется. А нет – пропадешь с ним.

А я все смеялась:

— С лукавыми, говоришь?

Не знала тогда мудрого предупреждения: помни, одного повалишь, на его месте шесть выскочат.

Потому и битва наша так долга...

(“Царские Аллеи”)

БАРХАТ

И лил дождь, и прозрачные лужи, обойти которые было негде, хлюпали под босоножками, и я мчалась над и под дождем в своем длинном черном бархатном платье, которое было неприлично, откровенно вечерним, театральным, и стало траурным лишь потому, что когда-то было совершенно мало, а теперь осталось единственным черным, и единственным — по мне.

Шел третий год после их внезапной кончины, а я по-прежнему не могла есть. Ничего. Третий год — только кипяток и вареная сгущенка.

Одна банка однажды взорвалась, и белый потолок кухни обогатился шоколадным узором.

Мне было все равно. Я всегда варила по четыре банки. Три еще оставались. Значит, три дня у меня еще были...

Из всех одежд я вскоре стала просто выпадать, но все перешивать не было ни желания, ни сил. А цветное я носить не могла.

...Я мчалась от подъезда под спасительную арку, на ходу нажимая кнопку самого реактив-

ного в Петербурге такси – спокойные девушки, понимающие без вопросов и моментально находившие для тебя автомобиль по самой приемлемой цене, произнося:

– Откуда Вас забрать?

И:

– Куда едем?

После чего неизменно добавляли греющее:

– Для Вас сегодня скидка 20 процентов.

А через пару секунд раздавался звонок и тот же спокойный голос называл марку и номер автомобиля и говорил, что через 3 минуты он будет ждать Вас там, где Вы сказали.

И точно!

Через три минуты я уже усаживалась в теплое авто с небесным словом в имени “Солярис” и извинялась, что без плаща и зонта, в одном промокшем, наверное, уже платье, объяснив, что у меня сломалось все – часы и градусники, а по радио сказали, что солнечно и +20, и я поверила.

На что водитель, такой же спокойный, как и девушка-диспетчер этого волшебного таксопарка, пояснил:

– Так это в Москве +20. А в Питере дождь. Ничего!

“Ничего!” – думала я. – “Ничего!”

Я объездила все недоступные обычно организации, меняя, по совету водителей, ради экономии, чтобы не тратиться на ожидания, машины все того же парка.

И везде мне открывали двери и понимали, и помогли...

К концу дня, обогатившись пачками документов, совершенно не помня, зачем и о чем они, я ворвалась во всё ещё свою квартиру и почувствовала, что голодна и удивилась.

И усталость, и тихая радость от того, что всё успела и оттого, что за целый день скитаний не встретила ни одного плохого человека в странных незнакомых мне прежде инстанциях, рухнула на диван, и, засыпая, подумала, что бархат почему-то не промокает...

Санкт-Петербург

БЕЛОЕ ПЕРЫШКО НА ЧЕРНОМ КРЫЛЕ

Еще вчера в 5 утра Фонтанка была тиха и прозрачна.

Серый песок на дне – почему серый?! – прежде, до дикого разгула водных туристов, песок был ярок и желт, как у бережка Невы за лопухами у Смольного, где бил блокадный родничок, пока не пришли новые власти и закатали все живое в бетон.

Серый песок на дне Фонтанки был мертв и пуст – ни малька, ни рыбешки, ни водорослей вдоль гранитной обшивки.

Из-за домов Правобережья вставало солнце.

Синее небо с белыми облаками казалось нарисованным, и теплого дня не обещало.

А сегодня с утра – облака-тучи, и старый ворон кричит нам с конька крыши Аничкова Дворца:

– Привет-привет, где пропадали?

– Привет, Карлуша! – радостно кричу ему.

– Болели мы. Долго.

Ворон планирует вниз, приземляется рядом с нами на узкий парапет, идет рядом и что-то говорит негромко – для человеческого уха.

Я и не знала, что он умеет так тихо разговаривать.

А он все говорит, почти шепотом, – о чем-то наболевшем рассказывает.

И вот, мы втроем упоенно разрезаем прозрачное бесцветие раннего утра.

Я, моя собака Маруся – большая, белая в черную крапинку, само воплощение изящества и респектабельности Леди Изумрудная Звезда из созвездия "Югаль" (это настоящее имя нашей Маруси) и... шествующий в одной с нами шеренге по перилам над Фонтанкой наш старый друг большой черно-каштаново-серый Птиц – Карлуша...

И совсем не думаем том, что кому-то эта картинка может не понравиться.

Потому, что мы – дома.

– Карлуша, где твоя семья? – спрашиваю я.
– У тебя ведь была жена, я помню, как ты сватался, и вся твоя стая уговаривала тебя не сидеть на нашем роскошном каштане.

А потом злые люди спилили каштан, и ты долго спрашивал, почему я разрешила это сделать.

Я не все могу, Карлуша!

Злых стало много...

Так, где твои, почему ты один? У тебя ведь два сыночка подрастали. Ты их воспитывал.

А вас всех – твоя Ворониха строила. Блондинка. Мы так ее звали. Она почти вся была белая... Строгая она у тебя. Где все?

Спрашиваю, словно сама с собой говорю. На ответ не рассчитываю.

И голову повернуть в его сторону боюсь, чтобы не испугать.

Перила узкие, вода о гранит бьется совсем близко...

А он вдруг что-то отвечает мне полупшепотом, и я просто обалдеваю, я совершенно перестаю что-то понимать, оттого, что осознаю, что Птица именно рассказывает!

Вот, кто-нибудь проснется в такую рань, нечаянно выглянет в окно и увидит нашу троицу.

Подумает: померещилось. Чертовщина какая-то...

А никакой чертовщины.

Просто друзья вдоль Фонтанки гуляют... Птица, собака и я.

– Так где все твои, Карлуша? – снова спросила я и пристально посмотрела ему в глаза.

И увидела, как постарел он за эту чертову зиму, когда все мы болели, как сдал...

Он понял, что я увидела это. Смутился – не ждал, что я обернусь и погляжу ему прямо в глаза и пойму, что ему одиноко отчего-то...

Карлуша сделал еще пару шагов, споткнулся, зацепившись за что-то когтем, но не упал – привычно сбалансировал крыльями.

И на левом антрацитово-черном его крыле я вдруг вижу белое-белое перышко...

Он внимательно взглянул на меня, взлетел на молодую липу, резко крикнул и снова опустился на перила Фонтанки.

А над крышами домов на противоположном берегу реки стали подниматься в небо большие черно-серые птицы.

И я поняла, что это его стая заволновалась, услышав крик, и что они все время наблюдали за нами.

И, наконец, до меня дошло, почему он так часто поглядывает на пакет в моих в руках.

– Так вы голодны?! Вы хотите есть? Здесь ничего нет, Карлуша. Ты приходи в наш двор. Мы сейчас идем туда, домой. И я дам тебе хлеба.

Он молчал, и белое перышко, белое-белое в его темном оперенье было, как неожиданная ранняя седина...

– Карлуша, ты прилетай прямо сейчас, – тихо повторила я. – Мы домой идем. Трудное время, правда? Но ничего. Ты прилетай.

Когда мы с Марусей прошли арку, он уже стоял в центре двора на серых, как песок Фонтанки, плитах и ждал.

Санкт-Петербург
18 мая 2016

ГАТЧИНА И СВЯТОЙ АФОН

Сержу, супругу моему незабвенному

Расскажу я тебе про такой случай, который и сама не понимаю. Но было дело так. Однажды ночью пришлось нам за город ехать. Ты знаешь, у нас в Санкт-Петербурге-то звезд не видно... Выехали мы за город и ахнули!

В полуночном небе за Петербургом вдруг вспыхнули, зажили своей, далекой и неизвестной нам жизнью, звезды.

Оказывается, они существуют!

Смеешься! А мы как-то, так уж получилось, давно на небо не поглядывали. Что толку, когда из центра Города месяцами не выглядываешь, тут уж не до звезд...

Ехали мы почти в полночь, к Приоратскому Дворцу Павла Петровича, который воздвиг он над чудесными прудами в Гатчине.

Мы видели небо и звезды, дышали ночью, невольно окунувшись в давно забытое...

— Гатчинцы! Гатчинцы приехали! — восторженно кричала навстречу нам, только вошедшим в длинный коридор ленинградской коммуналки, Мария Петровна, хозяйка двух

маленьких комнат, которые выделили ей с сыном Александром после реабилитации.

И мы, счастливые уже от одной возможности встречи с ней и Александром, мчались к ней, всегда солнечно гостеприимной.

– Bonjour, ma chérie, bonne journée! Je suis très heureuse de vous voir! Comment vous allez-vous? – говорила она, сидя в большом единственном кресле.

И протягивала мне руки, и я, внутренне горя от счастья видеть ее живой и здоровой, отвечала ей в тон:

– Bonne journée! Je vous remercie! Comment vous sentez-vous?

– Pas mal, pas mal du tout pour mon âge!

И в сторону:

– Мальчики, накрывайте на стол, а мы немного поболтаем, – говорила она, царственным жестом показывая мужчинам в сторону кухни и поворачивала так же царственно ко мне свое чудное лицо.

И сколько же светлой радости было в этом приветствии немолодой уже тогда Марии Петровны Араповой, правнучки Натальи Николаевны Ланской – урожденной Гончаровой, той самой, – вдовы Александра Сергеевича Пушкина.

Марьи Петровны, которую протащила судьба через войны и лагеря, расстрел мужа, и, едва ли не чудом найденного – после всего-всего! – сына Сашу, остававшегося совсем маленьким на попечении бабушки – мамы Марии Петровны – в Гатчине.

«Гатчинцы приехали!» – звенело когда-то свободно и восторженно на всю ленинградскую коммуналку.

Она любила Гатчину, юность ее прошла здесь, в небольшом – в два этажа – родительском доме с мезонинчиком.

Только на этот раз все было наоборот: это мы едем из Петербурга в Гатчину.

Предчувствие приключения не оставляло.

Да и сам этот внезапный побег из уютной квартиры на Фонтанке за город, в полночь, – хоть и уже вроде бы вполне белую, но из самых-самых первых, когда в центре их ночного круга гаснет солнце и не видно ни зги, – был для нас приключением.

Мы ехали к гатчинцам, верным его гатчинцам, надеясь успеть к 2-часовому ночному факельному шествию у Приоратского дворца – того самого, который построил над огромным

прозрачным прудом сам Павел Петрович, Великий Приор Российский правнук Петра Первого.

И, если уж признаться, мы ехали к хозяину Дворца Приора – единственного во всей истории Великой России Магистра Мальтийского ордена. Вот, как широко раскидывались чаяния Русских Государей!

До этой ночи мы часто бывали и рядом, и неподалеку.

Долгие часы летних каникул глазели на сказочный, волшебный Дворец-игрушку с островой красной башней, сидели на противоположном берегу пруда и с замиранием сердца ждали: а вдруг?

Но “вдруг” не происходило, и мы все реже забегали к пруду-озеру у Приоратского Замка, такого странного даже по названию, и, хотя от нас, живших тогда у Дворцового парка, прилежавшего к главному Дворцу Павла Петровича, было буквально два шага, мы, однажды поверив, что Приор к нам так никогда и не выйдет, перестали забегать туда.

Птицами перелетными, каликами мелькнувшими полетели годы...

И пустела наша Гатчина...

И уходили вместе со временем куда-то, в непостижимое, родные голоса.

А потом и их не стало.

И вот, спустя годы, бросив все, что держит человека дома, мы мчимся по ночному шоссе из Петербурга в Гатчину.

И где-то снова идет война за Русь, и звезды, огромные звезды смотрят на нас, и в черноте гатчинских парков самозабвенно поют птицы, уже почувствовавшие близкий исход белой ночи, одной из первых, майских.

– Соловьи? Откуда соловьи в это время?

– Да самое время и есть!..

Бездонной показалась чернота Приоратского пруда. Четкие его отражения не улавливала слабая наша кинотехника. А так хотелось «запечатлеть»!

Подумалось: как часто теперь нам хочется что-то запечатлеть, взять с собой, навсегда. Наверное, потому, что вторично мы можем уже этого не увидеть?...

Слабая наша киноплёнка вообще оставила нам отпечатки Бог знает, чего.

Мы долго не могли с этим разобраться. Признаться, так и не смогли до конца понять...

Но поначалу казалось: чего уж такого необычного?

Толпа в полночь у освещенных окон...

Лиц почти не видно.

То там, то там мелькнут...

Серьезные мужчины, сдержанные женщины. На плече одного даже ребенок лет двух прикорнул: очередь длинная.

Я – к двум женщинам, по-хозяйски, спокойно сидящим в закуточке, в предбанничке Дворца, в каком-то помещеньице...

Каком – не рассмотрела. Темно было.

Потому, что ничего кроме звезд, черного неба и еще более черного, как антрацит, озера внизу, иде-то под нами видно не было.

Словно оказались все мы так далеко, будто и Дворец сам был вообще не на земле, а иде-то высоко в небе...

И в то же время, он как бы не был оторван от земли.

Так вот, казалось, что кроме этого странно-го ощущения оторванности, внезапного и незамеченного никем бесшумного взлета вверх, в

поднебесье, ничего нет на свете. Да и сам он, вздет этот, возможно, причудился только из-за обманчивой близости огромных звезд и бездонной черноты вокруг.

Но мы-то знали, что там, внизу, был тот самый пруд, около которого в летние каникулы часами сидели мы в зеленой траве, покусывая травинки, и глядя, кто выйдет из Загадочного Дворца.

Но выходили все не те.

Какая-то женщина, какой-то мужичишко...

Было ясно, что это – челядь. А мы ждали Самого.

Мы всегда его ждали там почему-то.

Дети всегда ждут сказку. Это, наверное, нормально.

Ненормально то, что сейчас.

Почти нет детей во дворах.

И где-то идет война, где убивают детей.

И это где-то – часть России.

Часть святого юга ее, откуда пошла вся Святая Русь, где сама княгиня Ольга, псковитянка, так полюбившаяся одному из рюриковичей – Игорю, и так полюбившая его, что согласилась выйти за него замуж и стать киевской княгиней. Да, это Княгиня Ольга первой кре-

стила Русь, дикую, лохматую, упорную, хранящую Перунов своих крылатых...

Но я отвлеклась. А тем временем толпа вокруг нас почти не движется.

На нас поглядывают, потому что приехали мы на машине, на которой ярко высвечено: «Петербургское такси», да на шофера, который очумело ходит вокруг грани, очерченной фарами, словно за светлый круг и ступить боится...

И говорим мы тем двум женщинам:

– Ну, здравствуйте, гатчинцы! Как давно мы вас не видели!

А женщины спокойно так, с достоинством отвечают:

– Здравствуйтесь, коли не шутите! Проходите, гости дорогие. Только народу-то у нас, видите, сколько? Устоите ли?

Я говорю:

– Да ничего, чего там, устоим! Что, мы зря ехали что ли?.. А когда шествие-то начнется?

– Какое шествие? – певуче спрашивает одна из женщин. – На шествие вы уже опоздали.

– Как так?

То ли спрашиваю, то ли нет. В горле застряло, не вымолвить.

– Шествие-то было в 12, в полночь, как и положено, – поясняет вторая. – Как при Павле Петровиче, или, по-вашему, – Павле Первом.

– Как же так? – обретаю я, наконец, голос. – Как же так? По радио сказали, что будет второе шествие – в 2 часа ночи. Иначе мы бы и не поехали... Мы бы не успевали.

– Да для того, наверное, и сказали, чтобы вы поехали. Да вы не переживайте. Вон, если за Дворец-то слева зайдете, со стороны пруда, там народу поменьше.

И ухмыляются. Но не зло так. По-доброму.

Пошли мы. Обогнули длинную очередь, которая стояла прямо тут, от шикарных древних ворот к тетушкам. За билетами, наверное. Ночь Музеев, но наверно билеты...

Хотя нет. Быть может, просто поговорить – давно не виделись...

Обогнули мы по узенькой тропиночке и по траве невидимой над бездной висящий угол Дворца, и в это время Серж почему-то обернулся, резко поднял фотоаппарат вверх и начал фотографировать.

– Чего ты расщелкался, – говорю я. – Лучше возьми кинокамеру. Она бесшумная, маленькая.

– Хорошо, – сказал он. – Я буду снимать кинокамерой.

И стал снимать. Да, действительно, бесшумно. Но ничего не видно!

Я никогда в Петербурге не была в таком месте, где наша кинокамера ничего бы, совершенно ничего не видела. Она здесь ослепла.

Ну ладно, подумали мы, будем снимать, как снимает, дома рассмотрим.

– Давай, – говорю я. – Попробую, может, мне больше удастся.

Поворачиваюсь к пруду, а за ним как бы становище какое.

С большим шатром и невысокими кострами. И все это отражается в воде, как в зеркале.

Воды самой не видно. Черная, просто черный-черный провал. Как отполированное зеркало.

И я никак не могу поймать эти огни. Они пляшут. То ли стан этот загадочный так далеко?

– Как же далеко, – думаю я. – Луну-то ты снимаешь со всеми ее пятнышками, улыбочками, щечками, разворотами, глазками. Со всеми ее континентами... Ты луну снимаешь, что ж ты эти огоньки не снимешь? Я же вижу, там

городочек, становище там. Я глазами вижу, а ты!

Это я кинокамеру свою тихонечко так упрекаю, а сама жму на «съемку», и снова снимаю... И проверяю, не ошиблась ли? Может быть, не докрутила какое колесико...

— Ладно, — потом думаю, — пойдем-ка скорее в очередь. Раз уж шествия не будет, то хоть во Дворец попадем.

А Серж смеется:

— Ну, пойдем, — говорит.

И ухмыляется чего-то.

Завернули мы за угол, а там — толпища! И во сне не привидится.

Рядов в шесть стоят. Да все, видимо, знакомы. Между делом так, переговариваются потихоньку. Не спешат никуда. И вроде даже как не двигаются.

Я говорю:

— Чего это вы стоите-то, не двигаетесь? Вас что, во Дворец-то не пускают никого?

А мне так тихо какой-то дядечка говорит:

— Пускают, но по шесть человек. Не больше. Вот шестеро пройдут, вот там выйдут, где вы войти хотели, а потом еще шестерых пустят...

О, Господи, подумала я. Развернулась и окна увидела.

Огромные светящиеся, в которые видно все: и маленький белый рояль, и застывшую в чепчике, чуть дремлющую бабушку какую-то в длинном платье с белым фартуком, сидящую между входом в зал, в покои, и коридором с длинными рядами уютных таких стульев-креслиц.

Потом быстрым шагом вошел молодой человек. Высокий красивый.

Четкий профиль. Мальтийский крест во всю грудь шелками закрытую...

Широкая мантия со стоечкой. Нет, скорее темный плащ с капюшоном... Через окно не очень-то рассмотрела.

Красивый повернул к нам голову, взглянул гордо, но ничего не сказал. Отвернулся и быстро вышел.

– Снимай, – говорю я Сержу, – снимай, а то все пропадет.

А тот неразговорчивый. Смотрю, чего-то жмет, свое что-то фоткает.

Ну, ладно, думаю. И снова к обрыву. И откуда такой обрыв взялся?

И снова глаза-то к небу, туда, где островер-
хая башня. Словно кто позвал меня, огляну-
лась.

Самой башни как бы и не видно, и в то
же время, вот она, словно звездами обрисо-
вана!

Загляделась я и вдруг вижу — какой-то
белый туман стал кружиться вокруг нее.

И сбоку, и справа немножечко.

Густой, плотный такой, живой вроде...

И словно как что-то огромное гигантское
неизмеримое шевельнулось, качнулось.

Я опять — Сержу:

— Смотри! Снимай, снимай!

Гляжу, он и сам это видит, Не привиделось
мне.

Обернулась к Замку, а сквозь окна-то вижу,
группа вошла. Из трех человек. А троих в ко-
ридоре придержали.

— Ага! Бог троицу любит. — подумала я. По
три пускают, не больше. Говорят — шесть, а
пускают по три.

Все, вроде бы, рассмотрели и снова — к тем
тетушкам, что у входа встречают, пошли. Гово-
рим:

– Ну, еще раз здравствуйте! Так значит, обмануло нас радио про факельное шествие в два часа ночи?

– Обмануло, – говорят.

– Так может, вы специально передаете такие обманки-то, чтобы народ ехал?

– Нет, – говорят. – Мы не передаем. Мы вот подарок можем сделать. Редко у нас такие-то ленинградцы теперь бывают. Очень редко.

– То есть, как это «такие»?

– А такие, которые к Павлу Петровичу приезжают.

«Интересно, – подумала я. – Как это она догадалась?»

Потом, гляжу на Сержа-то...

– А-а, – говорю. – Ну да, вы все знаете! Он-то здешний, он-то здесь родился. Гатчинца-то сразу видно.

– Ну, да, – говорят. – У нас парни вот такие, вот. Под два метра ростом, да плечистые. Гатчинцы.

Посмотрела я на супруга со стороны, погордилась немножко.

А он говорит:

– Ну что, из сувениров есть что-нибудь для нас?

– Есть, – говорит. Постарше которая. –
Есть. Вот Вам – сабелька!

И подает ему футляр.

Красивый.

Небольшой. Ладони две мужских, если одну
за другой протянуть. Ну, с полруки.

– А Вам, – говорит, – Утятю.

– Чего? – удивляюсь. – Какую еще утятю?

– А нашу, гатчинскую.

Гляжу, птичка небольшая. Терракотовая.

«Гатчина» на боку написано. А на другом –
силуэт Приоратского Дворца белыми линиями
выписан. И – отверстия.

Надо подуть, и музыка будет какая-нибудь,
думаю я.

Подула. Какую-то дырочку прикрыла, по-
том другую, и мелодия полилась.

Народ смеется. Не очень громко. И глаза
добрые.

Тут мы про таксиста нашего вспомнили.

Глядим, а и тот вроде бы уже не очень-то
нервничает. А то все пыхтел себе под нос вот,
мол, завезли куда ночью-то...

Спокойнее смотрит. Не спешит. А чего ему
спешить? Наша-то денежка в его карман капа-
ет.

Я говорю хозяйшкам-то:

– Ну, ладно. Спасибо вам огромное, земляки. Приедем мы к вам не в ночь Музеев, а в обычный какой-нибудь день, если вы не против.

– Отчего ж против? Приезжайте. Павел Петрович гостей-то любит...

Негромко так сказала, с лукавинкой, и улыбнулась.

...Сколько времени с той поры прошло, точно не скажу. Может, месяца три, может, с полгода.

Рассматривали мы как-то старые пленки, фотографии. Понадобилось для чего-то.

Видим, на тех снимках, что Серж в темноте щелкал, обнаружилось вдруг то непонятное, что появлялось в ту ночь над Приоратским Замком – необъяснимое, огромное, космическое...

Смотрим и глазам не верим: на фото-то – рука, как бы не вся, а кисть ее над Замком поднимается.

А на ладони у нее – огромный светящийся, словно из света сотканный, крест.

И не одна фотография, а несколько, сколько Серж раз щелкнул своим фотиком, столько раз и зафиксировал это чудо.

Смотрели-смотрели мы на них. И вспомнилось: а, наверное, не зря в народе шепчутся, что лучше убиенного Павла Петровича мало, кто помогает от хворей и несчастий. Как мало, кто.

Есть у нас в Санкт-Петербурге такое поверие.

А вчера смотрю я по ТВ репортаж про десницу Георгия Победоносца, которую на Афоне хранят, и глазам не верю!

Та же ладонь, тот же крест в ней и три зеленых, вроде как пальмовых, листа справа!

Все, как на наших фотографиях из Гатчины...

Монах, хранящий это сокровище, что-то рассказывает, а я не слышу.

Все смотрю и смотрю. И глазам своим не верю. Бывает же!

После той нашей ночной фотосессии в Приоратском Замке Павла Петровича, или, если хотите, Павла Первого – правнука Петра Великого и сына Екатерины Второй, одарившей его задиристым профилем, появились внутри объектива нашей «мыльницы» три красных пятнышка, словно прожгли его в ту ночь лучи неизвестной природы.

А на фотографиях пятна стали появляться.

Мы приловчились поначалу. А они – все крупнее и крупнее становятся.

Видимо, придется менять технику-то. А может, наш «Олимпус» просто свой срок отслужил?

Но знаешь, дело-то в том, что и кинокамера...

Пленку-то записать на комп позволила, а потом отключилась.

Напрочь. Вот, ведь, странность-то какая!

Рассказали мы про этот случай знакомой. А она удивленно так на нас посмотрела:

– Вы не знали разве, что Приоратский Дворец Павел Петрович специально для этой святыни строил?!

И неловко нам стало. И стыдно немножко. Не знали. Или забыли напрочь...

Гатчина - Санкт-Петербург

ЧЕРНАЯ ФЕЯ

Жила-была на свете девочка. Веселая, как солнышко, певунья, как ручеек, — все напевала тихонечко сама себе разные песенки и улыбалась чему-то.

Люди посматривали, головами покачивали: неладно с девкой-то что-то. Странная она. Ни на кого не похожа.

Кто-то сказал, что после нее чашки в доме все перебились, а кто-то — молоко сметаной вдруг в палец толщиной покрылось. Неладно, в общем.

Хотели с матерью поговорить, да та сама была не как все — не сразу с пустяками и подступишься. Так взглянет, что и забудешь, с чем явился...

А девочка и не знала, что от ее нечаянного взгляда вдруг жухнет трава, цветы съеживаются и вянут, чьи-то судьбы в разнос идут, да что там судьбы! Дома в топи уходят, золото из гор и старых рудников вдруг исчезает, словно за ее песенками да танцами жилки золотые утянуло силой неведомой.

И пустели дома, уходили из тех мест люди.

Да и что там делать, если руда вдруг исчезла?

И дичали места без людей. Целые города вдруг становились призрачными, как миражи. Поначалу так, незаметно – у кого-то что-то не заладилось, а потом пошло-поехало...

И потянулись люди в другие края: везде хорошо, где нас нет. А брошенный город долго ли простоит?

И пустела земля там, где пробегала девочка, веселая, как солнце.

А она и не видела ничего этого – далеко уже была от этих событий. Так, зацепит вдруг что-то, приостановит...

Да нет, скажет она себе, привиделось, почудилось что-то, приснилось недоброе.

Крикнет в утреннее окно отговорку от наваждения да беды, как принято по старому поверью: куда ночь – туда и сон прочь! И – дальше.

Хотелось ей радостью своей со всеми поделиться, всем, хоть по капельке раздать, потому, что чувствовала – одой-то слишком много.

Веселая да быстрая. Как ветер. Как стихия. А со стихией что поделаешь?

Только однажды стала она замечать, что сны ее недобрые сбываться стали.

И самые страшные из них – о смерти.

Она всегда видела, как кто-то где-то умирает, или умрет скоро. Вскрикивала, кричала:

– Ма! Плохо кому-то! Умирает.

Бросались обзванивать всех пожилых да болящих. Но ни разу не удалось успеть к тому, кому надо, и успеть вовремя. Ни разу.

А однажды девочка сказала маме:

– Мама, за тобой смерть приходила.

– Во сне?

– Нет. Наяву. Зачем?! Зачем я все вижу, Ма?! – кричала девочка, и слезы душили ее.

Через три дня не стало мамы.

И остановилась девочка. И оглянулась – позади нее пустыня и мертвая земля.

Где же дома, где цветы, где все люди, которых она так любила? Мертвая безлюдная топь до горизонта окружала ее.

И закричала девочка, диким, не своим голосом. И не смогла шагу сделать по той земле, в которую навсегда уложили люди ее маму.

И налетел ветер. И закружил снег. И почернел, приник к земле тонкий стебелек – девочка, которая хотела разделить со всеми свое счастье.

Засыпая под снежным сугробом, она успела подумать: иногда мы совсем не то, чем себе кажемся. Совсем.

Быть может, потому исстари люди говорят: "...и прости нам все грехи, ведомые и неведомые..."

Прости.

Санкт-Петербург

7 ноября 2016

ВЕТЕР, ВЕТЕР...

И ветер разрывал зонт, жевал его и пережевывал, и лил внезапный поток с небес, мешаясь с градом, и в Катькин-садике безжалостно срывало еще не успевшие созреть желуди, а разношерстный народ, вдруг помельчав, жался к стенам Невского проспекта.

И все рвал и рвал ветер из моих рук твой зонт, который почти два года служил мне опорой и поддержкой во всех смыслах.

Вечером, добравшись до дома, я рухнула на диван и сейчас, проснувшись, увидела, что за окнами тихо, и мерцают звезды над крышами, идущими к Невскому проспекту.

И вспомнила черный ушедший уже в небытие день, и колючие глаза прибылых девок, бесстыжие и наглые.

И высокого юношу в камуфляже с рабочим рюкзаком за спиной с темной от ливня георгиевской ленточкой на брезентовом ремне под белыми сводами роскошного дома любимой улицы с насмешливым Николай Васильевичем в центре, парня, которого злые непрошенные, но прорвавшиеся в наш город сердитые приезжие девки уже успели зацепить, царапнуть,

кольнуть зубом от забытых дома вил у брошенного коровника...

Не того ждал он от Питера...

Мы переглянулись, и я мысленно пожелала ему удачи, и он понял, и дрогнуло каменное его лицо теплотой и нежностью.

И подумалось: Питер! Кого и как встречаешь ты нынче, Питер, тем ли честь воздаешь?!

13 сентября 2018 г.

СКАЗЫ-СКАЗОЧКИ

Витали где-то сказы-сказочки, помалкивали, поглядывая на облака сказители. “Не хвали день без вечера”, – любила приговаривать моя старая вильнюсская подруга Королева Эляна, когда гуляли мы по берегу древнего озера в зеленом Шилосе в ожидании звезд.

Не хвали...

Никто ничто не знает и главного не прочтет никогда, потому что главное так давно написано, что многими уже и забыто...

А тем временем пришли дожди и сказали, что лето кончилось... Чье-то первое, чье-то последнее.

*Санкт-Петербург
18 августа 2018 г.*

Часть вторая.

***ЗАБЫТЫЕ
НА КРАЮ ЛЕСТНИЦЫ***

(Бабушкины сказки)

*Сказка – ложь, да в ней намек,
Добру молодцу урок...*

БРОШЕНКА

День кончился, ночь на дворе, пора дите спать укладывать.

Иногда это просто, иногда с ритуалом, иногда со сказочкой. Как получится. День на день не приходится.

Вот и сегодня. Все переделали, все хорошо. Осталось попрощаться, потому что тихо не уйти. Чувствую, что не заснул.

— Ну, про все я тебе уже рассказала, ты засыпай потихонечку. Ручки под щечку, сам на бочок, реснички, как шторы, на ночь прикройли и — спи-засыпай!

— А ты куда?

— Да дела у меня. Дела переделаю, да тоже спать.

— Ба!

— Что, Ленечка?

— Извини, но ты говорила, что всех дел никогда не переделать!

Оборачиваюсь, уже ушла почти, в дверях-то обернулась, а он, как грибочек, — сидит на кровати, белой головой светится, глаза у него мои — с прозеленью, кожа белая-белая — сошел за-

гар-то уже, чуть не совсем сошел. А зима в разгаре. И худенький!

У меня аж душа зашлась, как тут уйдешь?

Говорю больше для отвода глаз:

– Это-то так. Всех дел не передела-ешь.... Да я тебе и сказочки-то все уже рассказала, пожалуй. Ты спи!

А самой не уйти. Что-то сегодня не так.

Мы и ванну приняли, и зубки почистили и традиционный «якутско-северный» обряд свершили: тазик с теплой водичкой к кровати, ножки – от коленок до пяточек душистым мылом, а потом нежной водичкой обмыли, пушистым полотенцем осушили и – оп! – под одеяло спрятали.

Моя мама каждый вечер так делала и приговаривала: чтобы ноженьки твои никогда не болели и от любой беды убегали! А уж если беда сама пришла и бежать некуда, так мы ее веничком, веничком по углам, да по сеничкам, да приговаривая:

– Не ходи, беда, к русским людям! А то так напугаю, что домой дорогу забудешь!

Он любит этот ритуал и засыпает быстро. Хотя в наши-то дни никакой особой необходимости в нем вроде бы нет.

Это тогда холодно зимой в домах-то было. Не согреться. Война шла. Вот, мама и придумала игру такую – в заговор от беды. А на самом деле, чтобы помыть ребеночка да не застудить...

И, ведь, помогло!

Я всю жизнь прожила, помня этот мамин «заговор» и ничего не боялась. И Лесика обучила прабабушкиной премудрости, хоть и времена другие, и войны нет. Поздно он родился, и они с прабабушкой не встретились.

И вот, сидит он, потомок, в темноте вихрами сияет... И сна – ни в одном глазу!

Что-то не так...

Присела я к нему на кроватку, велела лечь на бочок, ручки под щечку.

– Ну ладно, – говорю. – Слушай. Я тебе про лесные поляны рассказывала?

– Нет, – говорит. – Не рассказывала.

– Ну, тогда слушай. Когда война кончилась, когда фрицев наши до Берлина догнали и всю Европу от их засилья освободили, все стали ждать домой отцов своих, братьев. А матери – сыновей.

Долго ждали. Война-то наша четыре года шла... Вот, сколько тебе лет?

– Четыре, – говорит.

И ладошку с растопыренной четвертней ко мне тянет:

– Смотри, столько мне

Свеженьким таким голоском оповещает.

Чувствую, приготовился долго слушать. Не спится ему что-то. А отчего, не знаю. Не говорит. Не из болтливых он у нас. Да...

– Так вот, ждали-ждали... Все эти четыре года и дальше. Только не в каждый дом возвращались с фронта-то. В редкий дом это счастье приходило.

Все сбегались тогда, смотрели, слушали, не скажет ли чего о соседских парнях, что на фронты ушли.

Обычно никто ничего не знал...

Возьмет вернувшийся-то – ну, тот, кто с фронта живым вернулся, – гармошку, белый чуб к ней свесит, глаза синие печалью подернет да заиграет так, что стоят женщины в кружок, концы платочков белых сжимают, как неживые. Слушают, не движутся.

Замерли словно. Каждая про свое думает, а если поразмыслить, то у всех одна беда и одна думка – вернется ли?

Белый платок – это надежда.

В каждом доме был светленький платочек. Иногда даже нарядный – кому, что успели парни перед фронтом на память подарить. А кто и сам себе шил. Невелика премудрость. Только швейные машинки были не у всех.

Ну, как, ты спишь?

– Ты рассказывай, Ба, я засну.

– А весна уже была. И лето началось. Ты знаешь, что такое лето для ребятишек в таежном поселке? Это – жизнь.

Сначала появляются хвоинки – это лиственный подлесок ожил, чуть-чуть подрос. У них листвы-то нет.

Это тебе не Аничков и не твой Таврический. У лиственниц только иголки. Но когда они появляются, то они по вкусу как лимоны, веришь?

Кисленькие-кисленькие. Вкусные.

Мне тогда тоже вроде как тебе сейчас годов-то было, но хвоинки эти помню. Мы в тайгу пасться ходили, как оленьята...

Говорю все подряд, а сама к дыханию прислушиваюсь – не заснул ли?

– А тут слух прошел, что эшелоны наших мимо нас, на Восток двинули, там нелады какие-то.

И опять все ждать стали.

А потом все стали шептаться, что американцы ударили по японцам особой бомбой – атомной.

Она от человека только тень на стене, говорили, оставляет... Только тень! Вот такое зверство американцы учинили.

И то сказать, японцы маленькие, а очень злые. И вредные, как не знаю что.

– Почему? – спрашивает.

– Не знаю, характер у них такой, наверное.

– А у меня какой характер, Ба?

Спрашивает мрачновато так. Точно, что-то случилось. Что?

– Да у тебя-то, Лесик, золотой характер, – отвечаю.

У него и вправду материнский характер-то. Добрый и настырный. Только вперед. Хороший характер.

– Золотой? А ты говорила, что золото – зло!

– Так это рудное, самородное золото – зло. Не в горах. В доме. За него убить могут. А характер человеческий, если золотой, то нет ему цены. Так люди говорят. А люди зря не скажут.

– Тогда скажи, Ба, почему они уехали одни? Почему меня с собой не взяли?

– Кто? – я даже растерялась.

А он – тихо, так, шепотом, словно горло перехватило:

– Папа и мама...

Ах, вон оно что, думаю. Как же я не догадалась-то? Заскучал. Брошенкой себя почувствовал. Страшное это чувство. Страшное.

– Ты серьезно, Ленечка? – искренне так говорю. – Ты что, разве не знаешь, что это посол все безобразие устроил? Я видела его. На соседского кота похож.

– На Репейку?

– На него! С виду ласковый, а попробуй, погладь. Гладил, небось, кота-то соседского?

– Ага, – говорит из-под одеяла.

И смеется тихонечко.

– Ну, ясно, – говорю. – Средненько вы с ним ладили.

Опять смеется.

– Ну вот, и посол так же. Не пущу, говорит, вас с ребенком чуть не на месяц! Оставляйте его здесь. А то вообще никуда не поедете.

Да грозно так говорит. Вот-вот зашипит. Ну, чистый Репейка.

И смеюсь тихонько.

– Ну, а твоя мама... Ты ж ее знаешь.

– Подумаешь, – говорит. – Испугал! К мужу я на три недели съезжу, хоть вы меня режьте! У меня мама есть!

Посол, хоть и злой, а говорит:

– Мама – это хорошо. Резать не буду.

Засмеялся мой малыш и ничего больше уже не спросил.

Видимо, заснул от моих сказок дубовых, успокоился на время. Пошел сны про соседского кота смотреть.

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮЖОНОК

Хочешь, я расскажу тебе про белого верблюжонка?

Признаться, я никогда не видела верблюдов.

Кажется, очень давно у нас в Ленинградском зоопарке жили верблюды. А, может быть, и нет. Если так, то я никогда их не видела.

Но Белый Верблюжонок был.

Я видела его сегодня.

Я пыталась тебе рассказать про слова, которые уже сложились в строки, но что-то недоброе не дает мне сил записать их, помнишь?

Так вот, когда я поняла, что не моя во-ля, а чья-то чужая и недобрая вмешалась в мою жизнь и сжевывает ее, как верблюд ко-лючку, я успокоилась и заснула.

Не знаю, сколько я тогда проспала – час, два, или три.

Но когда просыпалась, то увидела все незаписанные, но существующие уже слова, все-все строчки и вплетенные в них образы. И среди них был белый верблюжонок.

Сначала-то он мне птицами показался.

– Как это?

– Да так, вроде лебедей. То там вынырнет из строчки, то там. Красивые птицы – лебеди...

– Красивые, – соглашается малыш

– Я очень обрадовалась. Подумала: матушка Серафима помолилась за меня сегодня. Или Батюшка светлый Игумен Силуан, который приехал к нам недавно с митрополитом Варсанофием.

Помнишь? Я тебе рассказывала о них. Они к нам в Петербург приехали. Служить здесь будут.

Так вот, обрадовалась, потому что знала уже, что силы великой его молитва. И больных на ноги ставит, и страшные недуги исцеляет. Хоть сам батюшка Силуан еще молод.

Видишь ли, Господь не смотрит на возраст человека, когда одаряет его каким-нибудь счастливым для людей даром. Потому, что Бог не знает времен.

– Почему, Ба?

– А потому, что ему это незачем, временато наши человечьи. Не его это мерки. Ему это ни к чему.

Так вот, просыпаюсь я, вижу все это мое не записанное....

“Ну, – думаю. – Сейчас все запишу. Ну, не все, конечно, а насколько сил хватит. И так потихоньку каждый день, раз силы вернулись”.

И смотрю, как ходит меж строк моих этот самый Белый Верблюжонок.

Вид у него гордый, а глаза огромные, такие, что за ними и лица-то не различишь: от глаз не оторваться. Так они глубоки, хороши и многозначительны, словно хочет он тебе тайну какую-то поведать.

А еще у него и ресницы, и белый хохолок надо лбом. А сам он кудрявый.

“Как здорово! – подумала я. – Сейчас присяду к столу и запишу все это для тебя. А ты будешь читать и радоваться”.

Смотрю, а стол-то внизу, до него еще добраться надо.

Приземляюсь, чтобы включить комп, и вдруг вижу, как все строчки, образы, все метафоры, улыбки и слезы – все-все, вдруг рвется на части, расползается по моим рукам, ногам на космической скорости...

Словно нечаянно зацепила я это облако информации там, во сне. Оно как бы уместилось на мне, а я, видимо, была не больше книжки.

И вот, здесь, наяву я стала менять форму, превращаться в человека – обычного, большого человека, который, конечно же, никогда не может летать.

– Никогда-никогда, Ба?

– Никогда. А уж тем более обернувшись в слова, строчки и образы.

И заспешила я, и принялась собирать разрывающиеся строки, чтобы сохранить их в том порядке, в котором они таким странным образом зафиксировались на мне.

А разрывы все ширятся, строчки рвутся и разбегаются. И я уже знаю, что не смогу ничего запомнить.

И вот тут-то, смотрю, Белый Верблюжонок-то бродит по строчкам, по-хозяйски так, каждым шажком разрывы словно сшивает невидимой волшебной нитью.

И все ему удастся. И оттого-то он гордый такой – близко не подходи!

А сам на вид мягонький, как игрушка. Только живая.

– Ба! А знаешь, кто это был? Ну, тот Белый Верблюжонок, который помогал тебе, когда строчки стали разбегаться?

– Кто?

– Как это кто? Да это я и был!

– И точно! Как это я раньше-то не догадалась?!

И засмеялись оба, да так легко и весело, словно никаких таких неясных снов и не ви-лось по ночам над спящим Петербургом, не пугало, силы не отбирало.

И то! Помощь всегда ближе, чем ищешь.

Но навалилась с того дня на нас беда-кручина. Да такая, что не отвязаться, ни отговориться, ни спрятаться.

Хоть ложись и помирай.

Но нельзя. Дел много. И надо все сделать.

Но вот ведь какая небывалочка-то! Что ни дело – беда. И не просто сделать, а воевать за любое простенькое дельце-то надо.

Ну, просто сражаться.

Вот, когда вспомнилось мне бабушкино:

– Ослабела, не ложись. В блокаду так было: кто лег, тот уже не встанет.

Так было.

Как мы от очков сбежали

Как-то опять так случилось, что пришлось нам с внуком снова вдвоем остаться. Ну, и традиция перед сном:

– Ба, сказочку расскажи!

– А про что?

– Да хоть про что.

– Хочешь знать, как ты от очков сбежал?

– Ага!

– Да ты сам ведь знаешь?

– Мало ли, что я знаю. Ты расскажи. Как сказочку.

И одеяло к подбородку прижал, глаза горят. Слушать приготовился.

У родителей его небольшой отпуск был. И решили они в горы съездить, покататься.

А знаете, малыша из детсада на пять дней вырвать – дело не простое. Справки, обоснования...

– Да езжайте вы одни, – говорит им Лесик. – А мы с бабушкой вас ждать будем. Валентина Андреевна сказала, ведь: про горы и не мечтай!

– Интересно, почему это? – сурово спросила мама.

– А потому, что у нас сейчас большая медкомиссия. Перед подготовкой к школе.

Рос наш малыш, как все. Родители на «Электросиле» целыми днями пропадали, да еще дочка параллельно «Политех» заканчивала, муж над кандидатской корпел. Было у нашей-то до этого музыкальное образование, но муж посоветовал получить серьезный диплом.

А она иногда слушалась.

Вот, в то самое время, как исполнилось нашему Лесику лет пять, стали их в детсаду и готовить к школе.

Видимо, тех, кто читать-писать-считать не умеет, в школы не берут. Туда только ученых принимали. Кажется, пока без степени. Но кто его знает, что дальше будет?

Шли у нас в стране большие перемены, как пел когда-то Высоцкий, и мотало людей, как

горошины в пустой бочке. А гремел в ней один вопрос: как выжить?

Кто по свету в качестве челноков бросился – товар на горбу возить, кто к гумпомощи пристроился – торговать-воровать.

В общем, стал народ, как мог, осваивать новую жизнь.

Тут не покукуешь.

Наш-то уже все умел. Тут папанина заслуга. Был он дочки постарше немного, и умный. И сына сам воспитывал.

Тот к пяти-то годкам уже на двух языках разговаривал и английский ему, что родной был.

Считал, рисовал, спортом занимался. Только вот каллиграфия ему почему-то не давалась. Не любил писать, и все тут!

...Посоветовались, поговорили и решили. Молодые на недельку в горы, пока есть такая возможность, а мы с Лесиком – в ожидание.

Потому, что жизнь у нас всех была как на пепелище – ни страны, ни законов.

У власти какой-то мордоворот непросыхающий. Но хитрый.

Он перед выборами генералом-афганцем подперся. А народ афганцев тогда сильно уважал. Вот с такой-то подпорочкой и проскочил

наш не-шей-не-пристегни в президенты. Главным в стране стал. И такое бывает...

И вот, в один из дней звонит мне дочь. В голосе огорчение.

– Ма! Леньку к врачу отправляют.

– Так у них сейчас там комиссия.

– Ты не поняла! Его к главному отправляют. Хотят очки прописать!

– Какие еще очки?!

– Да какие-то особые, бикулярные называются!

– Так у него хорошее зрение, – говорю.

– Нет! – а сама чуть не плачет. – Сказали, без очков в школу не пустят!

– Ты успокойся. Пустят. И без всяких очков.

– Ма! Что делать-то, а? В 5 лет очки!

– Делать... Вот, что. Мы вечером после работы к вам заедем и все решим.

– Давай, ма!

И голос у ребенка-то моего старшего совсем детский, никаких командных ноток. Как в те времена, когда она в тайгу уходила с лесным зверьем поиграть. С белочками да бабочками, да божьими коровками... И всем поселком искать ходили, как бреднем по лесу люди шли, каждый кусточек прощупывали...

И сжалось у меня сердце.

Вечером мы с молодым нашим дедом, чуть-чуть меня постарше, приехали к ним.

Уютно у них. Родное все. Нас на кухню – к чаю зовут. Обычай такой у них. Сначала чай, потом разговоры.

– А что это за коробка? – спрашивает дочь.

Ишь, ты, раньше всех заметила.

– А это, – говорю. – Лекарство для вихрастого. У вас старый цветной телевизор есть? Видела я на прежней квартире. Не выбросили? Большой такой экранище у него.

– Есть, – отвечает. – Не выбросили. А что?

И в голосе недоверие.

Я ее понимаю. Не любит она телевизоров. Особенно старых.

А тут и супруг ее объявился, взглянул на коробку:

– А-а! – говорит. – «Денди»! Вот здорово! А картриджи есть? Я свои куда-то сложил, потом достану.

И сыну:

– Пойдем-ка к тебе! Подарок осваивать.

А я говорю тихонько:

– Ты ему этот картридж загрузи. Там человечки мелкие по лесенкам бегают. Экран большой – есть, где разбежаться. А провода у

«Денди» во всю длину вытяни. Пусть играет с того расстояния, с какого ему удобно. И столько, сколько хочет.

– Понял, – говорит.

И смеется.

– Да картридж этот не потеряй, – говорю. – Мой любимый.

– Не потеряю, – говорит. – Как же я сам-то не догадался?

– А чему ты удивляешься? У нас всегда сапожник без сапог. Босой ходит.

Посмеялись.

Мы пошли чай пить, а ребенок с папаней – «Денди» осваивать. Гонять маленьких человечков по большому экрану – это тебе не носом по учебнику программирования в 5 лет водить, да еще и на английском.

...Время прошло. Лицей-гимназия и прочие новшества в жизнь потомка нашего вошли.

Спрашиваю у дочери:

– Ну, как у нас там с очками?

– Фи! Нашла, что вспоминать!

– Вот и славно, – говорю. – Вот и хорошо.

Больше и не вспоминали.

Встреча с чужим разумом

– Это было в столь давние времена, что о них ни папа твой вспомнить не может, ни мама.

– Почему?

– Их тогда на свете еще не было. Ни тем более, ты, Лесик, потому что о том, что ты явишься на свет 29 числа светлого месяца июля, никто и подозревать не мог, ни бабки-гадалки, ни сороки-вещуньи, ни ясный месяц...

– Почему, Ба?

– Потому, что все вы были в далеком будущем, о котором в мелких подробностях никто не знает.

– Ба, прости, разве мама и папа, ну... ну, и я, конечно, мы – мелкая подробность?

– Конечно, нет! Когда вы родились, вы уже никакие ни подробности. Вы же люди!

– А где мы до этого были?

– До чего «до этого»?

– Ну, до того, как появились?

– А Бог его знает! Ты сказочку-то будешь слушать?

– Конечно, Ба!

– Тогда не перебивай, а то пирог у меня подгорит, или желе переварится. Я тебе между делом рассказывать буду, хорошо?

Так вот, в те давние времена, когда люди летали в космос, гуляли по Луне и знали, чем отличается мужчина от женщины...

– А сейчас не знают?

– Сейчас? Видишь ли, Лёсик, тогда мамы детишек сами рожали. А мужчины это делать не умели. Правда, говорят, что в древних историках, ну, списках таких, где запечатлены все события на земле...

– В анналах?

– Да, в анналах, в древних хрониках упоминалось, что один мужчина-китаец родил человека сам. Но это, говорят, был единственный зафиксированный случай.

– Вот здорово! И как это он сделал?

– Не помню, Лесик. Поищешь в интернете. Я тебе хочу о другом рассказать. И еще хочу, чтобы ты это запомнил и своим детям передал.

– Ба, у меня нет детей.

– Естественно, но когда-нибудь, когда ты вырастишь и женишься, они появятся.

– Ты уверена?

– В чем?

– Что они появятся?

– Конечно, если все путем пойдет, а не наперекосяк, как сейчас.

– А путем – это как?

– Да как во всех нормальных семьях, понятно?

– Как в нашей?

– Вот именно.

– Так вот, люди ходили в школу и институты, летали в космос, строили корабли, писали хорошие стихи, пели песни и умели так плясать, как ты и не видывал.

– Как девушки на карнавалах в Рио?

– Нет, Лесик, как в России. Только в России и умели плясать по-настоящему. Душой. Не телом, не попками трясли, а плясали так, что земля кружиться в другую сторону начинала.

Но даже наше поколение так плясать уже не умело...

Так вот, в те давние времена страна наша была большой и великой, раза в три больше, чем сейчас, ее люди – их тогда советскими называли – не только космос осваивали да уникальные технологии во всех областях знания, науки и техники, но и создали искусственный разум.

Так вот, хочу я тебе рассказать, как я с ним первый раз в жизни встретилась.

– С разумом?

– Ну да, с искусственным. Было мне тогда лет 16. И повели нас на экскурсию к двухголовым.

– К кому?

– Ой, Лесик, прости за жаргон. Мы так физиков называли, потому что они были очень умные. Так вот, привели нас в какой-то институт, где они работали.

Все зашли в большой белый зал, заполненный белыми... ну, вроде как, шкафами. А я в коридоре застряла. Стенгазету увидела со странным названием.

Стою, пытаюсь расшифровать. А название странное, ничего мне не говорящее: «БЭСВМ». Так вот запомнилось.

Подходит какой-то мужчина – а были они там все в белых халатах почему-то, наклоняется ко мне и с ехидной такой ухмылочкой спрашивает:

– Над чем леди голову ломает?

– Во-первых, не леди, а мадемуазель, если уж на то пошло. А во-вторых, что это за аббревиатура?

– Эта? – удивляется дядечка.

Брови вскинул, распрямился – а длинный он был, как жираф, и пальчиком в это самое «БЭСВМ» постукивает.

– Эта, – отвечаю.

– А это, милая барышня, расшифровывается элементарно: «Бэса мэ, мучо!»

Была, Лесик тогда такая песенка. Все под нее танцевали. Но перевод слов ничего приличного не означал, по нашим тогдашним понятиям.

– Совсем дурак, что ли? – говорю и разворачиваюсь девчонок догонять.

А дядечка задумчиво так говорит мне вслед:

– Да говорят, что не совсем...

И все улыбается.

Прибежала я вовремя. Все стояли вокруг какого-то ящика, а дядечка в белом рассказывает им про зачатки искусственного разума, его первые достижения и перспективы совершенствования.

В общем, для нас, гуманитариев, на языках повернутых, сплошная дребедень и скука.

Вот, я возьми и спроси – не смеха ради, а для популярности его повествования:

– А петь он может?

Тот встрепенулся, хоть какой-то интерес к своей сложной лекции почувствовал и говорит радостно так:

– Конечно! Немного, правда, но кое-чему мы ее уже обучили.

– Ее? – удивилась я.

– Ну, конечно. Это вот все вокруг вас – Большая Электронная Счетно-вычислительная машина!

– Бэсомэ? Как в стенгазете?

– Да-да, Вы заметили? Именно так. Вот это она может вам спеть. Секундочку.

Он наклонился к чему-то типа картотеки, покопался, и вдруг этот шкаф, это мертвое чудище металлическим тоненьким голоском затянуло:

– Бэсамэ, бэсамэ мучо!

Все завизжали, запрыгали, в ладошки хлопать стали.

– Тихо-тихо, – говорит наша Анна Михайловна. – Здесь люди работают.

Ну, а потом все заболели Станиславом Лемом, Айзеком Азимовым, его робототехникой...

Они описывали будущее, а у нас оно уже живым было. И пело бэсамэ!

Так вот, Лесик, если кто тебе скажет, что Россия страна отсталая и ничего в ней нет и не

было, и ничего-то наш народ не умеет, – не верь.

Ну, да ладно, все у нас с тобой давно готово, давай ужинать и спать укладываться.

А я тебе перед сном маленький анекдот расскажу. Про Анку-пулеметчицу, хочешь?

– Хочу, Ба. А кто это – Анка-пулеметчица?

Санкт-Петербург

ПЛОХАЯ КВАРТИРА

День рабочий к концу подходил, когда раздался телефонный звонок, и в трубке прозвучало родное:

– Здравствуй, Ба! Это я.

И голосок какой-то странный. Неуверенный, что ли. Я сразу и не поняла.

– Здравствуй, Лесик! Что-нибудь случилось?

– Да ничего особенного не случилось...

А голосок еще тоньше и дрожит в нем какая-то странная, незнакомая мне прежде струнка. Что-то не так, думаю. Что-то не так.

А он говорит дрогнувшим голосом:

– Вот мама в магазин уехала... За продуктами... Надо же человека чем-то кормить, а тут все кончилось.

– Мама так сказала?

– Ну, да...

– И ты один в доме?

Отвечает едва слышно:

– Да.

Что-то напугало, думаю ребенка. Отчего-то ему страшно, раз звонит сам да еще на работу и, похоже, с трубкой телефонной расставаться не собирается.

Что может испугать человека в три года? Что угодно. С разбега не догадаешься.

– Ты чем занимаешься сейчас? – спрашиваю.

– С тобой разговариваю.

– Понятно.

Значит, для него это сейчас главное занятие.

Я присела в кресло, махнула коллегам, мол, пока!

– Ну, – говорю. – И что там у тебя в доме происходит.

Помолчал немного потом говорит:

– Некоторые непонятные вещи происходят.

– Какие? – говорю.

– Ну, как тебе сказать... Понимаешь, он такой быстрый!

– Кто – быстрый?

– Ну, этот, он у них главный. Его в ведро бросят, крышкой накроют, а он уже из дымохода выглядывает. И рожицы строит. Ба! Почему он все время рожицы строит?

– Сейчас, разберемся, – говорю. – Ты рассказывай, что он там у тебя еще вытворяет?

– Ты понимаешь, я даже не всегда успеваю за ним. Он то на полу, то уже под потолком. То пролетит через всю комнату и снова в ведро. А то из крана вдруг выскакивает!

Из какого крана?

– С водой. Как он туда попадает, скажи? Это же невозможно?! Ой, бабушка, мама пришла! Ты извини, я потом тебе позвоню.

И только «би-би-би» – занято, значит.

Ну, раз мама пришла, разберутся.

А через несколько дней опять звонок. Такой же. И все про главного и какую-то дикую команду кривляющихся громил. А вскоре – опять.

– Спрашиваю:

– Мама опять в магазин ушла?

– Да, – говорит. – Сказала, что скоро вернется. Ба, а этот, ну, главный у них...

И примерно час рассказа, от которого мне самой страшно стало. За психику ребенка. Целый час ужаса, за которым следовало счастливое:

– Мама вернулась!

И трубка отключалась.

На этот раз я сама позвонила дочери. Не сразу, конечно. Приехала домой, отдышалась, сварила кофе, звоню:

– Как дела, как сын?

– Да ничего, – говорит. – Нормально. А что?

– Ты его психоаналитику показывала?

– Нет, Ма. Но ты права, что-то с ним происходит в последнее время. С тех пор, как мы переехали сюда, ребенок бояться стал. Мы же с Иваном свои комнаты объединили – ты знаешь, переехали сюда. Но какая-то квартира плохая, что ли. И район этот мне совсем не нравится.

– Ты своди ребенка-то к психологу. Прости, Малыш, но мне за его психику страшно. Ты его одного часто оставляешь?

– Да ты что! Я только в магазин – это тут рядом и бегом назад. Но, Ма, понимаешь, ты

права. Не нравится мне эта квартира. Плохая она какая-то. А к психологу мы с Лесиком сходим, обещаю.

Хожу я, хожу, думаю – неужели с ребенком что-то. Неужели? А сама все звонка жду. Мне уже страшно от одного того, что постесняется позвонить...

Позвонил.

И рассказывает продолжение приключений этой странной команды, которая оккупировала его сознание.

Часа полтора так рассказывает.

– Лесик, – говорю я. – Вот все, что ты мне рассказываешь по телефону, – это же целая книга. Ты их не бойся. Ты все их приключения в тетрадку записывай! Это будет твоя первая книга.

– Хорошо бы, – говорит малыш. – Только, Ба, я писать еще не умею. Папа начал меня учить, а мама сказала, что “в три года рано” и “не лишай ребенка детства”.

– Это мама так сказала?

– Ну, да.

– Тогда ты просто рисуй. Делай книжку из картинок. Раз ты все это видишь, ты все это и рисуй! Классная книжка будет. А я тебе потом помогу с подписями, и мы ее издадим.

– Во, здорово! И мама пришла! – воскликнул Лесик и положил трубку.

Не помню, сколько времени прошло, звонит наша дочь-командирша:

– Ма! Мы квартиру поменяли. Запиши адрес.

– Хорошо. А как Лесик?

– Ой, Ма, это целый анекдот. Пришли мы, как ты велела, к психологу. А – ты не знаешь, наверное? – Ленька-то весь в тебя. Книгу стал писать! Писать-то он не умеет, так картинками. Три тетрадки изрисовал. Я ему говорю, ты свою книжку возьми с собой, покажем психологу, а то долго рассказывать.

– Хорошо, – говорит.

Пришли в поликлинику, в очереди посидели. Заходим. Ну, врач, как всегда: что у нас приключилось?

Я начала было говорить про “плохую” квартиру, про то, что ребенок в ней и на минутку оставаться боится, чего раньше никогда не было...

А врач говорит: «Покажите-ка мне, что вы с собой принесли».

И – хватать Ленькины тетрадки.

Листает, листает, потом хихикать начал.

Ну, думаю, попали мы.

А он как захохочет!

– Выкиньте! Немедленно выкиньте все кассеты с этими мультиками! Небось, все 20 серий про этого Джерри закупили?

– Ну, – говорю.

– Не «ну», – говорит. – А вон. Все 20 вон!

И к Леньке:

– Ты ведь не против?

– Нет, говорит тот. – Я – за. Они страшные. А книжку я уже написал.

И стали они – наш мелкий с врачом – Ленькины тетрадки рассматривать. Да еще и хохочут вместе.

А я стою дура-дурой. И почему я этот папашин подарок сама не посмотрела, думаю. Ну, вот почему, Ма?!

Санкт-Петербург

ДИКИЕ КОШКИ

Накануне прилетал Карлуша. Сидел над самой высокой развилкой каштана и долго – до потери голоса – жаловался.

– Что случилось? – спросила я. – Что случилось, Карлуша?

Он закричал еще громче, поперхнулся...

Такое с ним бывает очень редко. Что-то случилось. Так отчаянно он, пожалуй, никогда не кричал.

Стая кричала, а он – нет. Выдержка у него была железная. В общем, парень с характером. И вот, как мы убедились в этом.

Первый раз мы увидели его стаю лет пять назад, когда заезжие московско-американские гастролеры решили отобрать у нас наш 55-й дом на Фонтанке. Под гостиницу. И им это удалось. Несмотря на наше сопротивление. Я уже рассказывала об этом и вспоминать не хочу.

Так вот тогда, в первое утро на новом месте, когда я вывела Марусю на прогулку, высоко в небе раздалось над нами громовое:

– Каррр!

– Привет, Карлуша! – крикнула я и подняла голову к небу.

Высоко, на самом краю крыши сидел, перегнувшись к нам, вниз, знакомый серый ворон. Не узнать его было невозможно. Он был очень воспитанным. И всегда здоровался с нами, увидев ли в окне, или на набережной Фонтанки.

Это он отважно прилетал к нам во двор-колодец старого дома.

Отважно, так как в том дворе было полно машин, ребятишек, собачонок и кошек.

И ни травинки – один серый битый асфальт.

В общем, глубокий питерский колодец – таких дворов у нас пруд-пруди...

Но он прилетал, здоровался. А потом исчезал куда-то.

Мы не знали, ни где он ночует, ни где живет.

Даже думали, что у него и стаи-то нет, что это одинокий воронуша, потому и общается с людьми.

Мальчишки говорили, что, наверное, его кто-то вырастил, и он когда-то был ручным. А потом человек умер, и он ищет его.

После перестройки в городе появилось много бездомных. И кошек, и собак. Они сбивались в стаи...

Это было так странно. Наполовину домашние, потерявшие хозяев, чтобы выжить, они объединялись в банды. Чтобы выжить...

Так вот, с самого высокого краешка крыши нашего нового древнего дома, построенного еще при Екатерине Второй, нас приветствовал Карлуша!

– Привет! – повторила я. – Вот видишь, мы теперь здесь живем! Перебирайся сюда. Потому, что тот дом будут рушить. А мы теперь будем здесь жить!

Мне и в голову не приходило, что эта "беседа" может иметь какие-то последствия.

И в голову не приходило. А зря!

Но, как говорят, "продолжение следует".

Доскажу потом.

Уже поздно. Спи!

-2-

(обещанное продолжение)

Дело в том, что однажды Карлуша решил жениться.

Да... Бывает такое. Не только с людьми, оказывается.

Об этом событии Дом узнал рано утром, проснувшись от возбужденных криков вороньей стаи.

Вот, когда мы увидели его стаю...

Стая была огромной.

И все в ней говорили одновременно. Как на московских телепередачах, где собираются два политика. А уж если среди них какой правозащитник, или либерал затесался, то хоть святых выноси...

Да...

В общем, за окнами разворачивалась необычная для наших мест картина.

На крышах по всему периметру двора сидело видимо-невидимо ворон. И все они разом галдели, что-то кричали, кого-то явно убеждали в чем-то.

Я пригляделась.

В центре двора на нашем раскидистом каштане в его густой зеленой листве, сидел Карлуша.

Но не один.

На боковой ветке неподалеку от него прилепнулась почти такая же серая, как он, ворона.

Была она, правда, чуть побелее, чуть посветлее нашего Карлуши. Блондинка, одним словом.

Оба они молчали.

А стая, свешиваясь клювастыми головами с крыш, громко и возмущенно кричала что-то в их сторону.

Карлуша изредка говорил в ответ неуверенное:

– Карр!

И замолкал.

Блондинка молчала. Только поворачивала голову то на Карлушу, то на стаю.

Наконец, стая, видимо убедившись в бесплодности разговоров, поднялась на крыло и улетела в сторону Летнего Сада.

Подруга Карлуши, не выдержала, перелетела сначала на крышу, а потом взмахнула крыльями и полетела за стаей.

Карлуша остался один.

Растерянно походил. Потрогал клювом тонкую ветку. Потом еще походил.

Каштан уже отцвел, и в его пышной густой листве зрели гроздья каштанов. Ни одной сухой ветки не было на нашем каштане. Ни одной...

А как известно, вороны на таких деревьях не селятся и гнезд не вьют.

Возможно, это пыталась объяснить Карлуше его стая.

Он еще походил в зеленой листве, подумал. Потом улетел туда, где исчезла огромная воронья стая.

Во дворе стало совсем тихо.

Вернулся он дня через три. И не один. С ним была его Блондинка.

Он водил ее по крышам, показывал потаенные местечки возле старых мансард, — видимо, места его схронов.

С того дня стали они ночевать на нашем каштане.

Однажды, возвращаясь домой, мы обнаружили, что на газоне вокруг каштана лежат его огромные разлапистые листья.

Это было странно, потому что до осени, когда листья становятся золотыми, и каштан устраивает нам волшебство листопада, было еще далеко.

Эти листья были свеженькие, ярко зеленые и лежали на траве странно, словно следы чьего-то хулиганства.

Пока мы их рассматривали, сверху спланировал вниз еще один лист. Высоко, на уровне третьих этажей в густой листве расхаживал Карлуша, примеряясь к следующему листу.

Мы видели, как он перекусил черенок листа и сбросил его вниз.

Ветка, по которой расхаживал Карлуша, бы-ла уже голой.

Он еще раз неторопливо проинспектировал ее, обнаружил очищенный прутик и переломил его.

Карлуша явно собирался строить дом.

– Ты зря это затеял! – сказали мы ему. – Нельзя строить гнездо на цветущем каштане!

Он смотрел на нас сверху – слушал.

– Нельзя на каштане строить дом, Карлуша! – строго сказала я. – Если ты не перестанешь, я рассержусь и прогоню тебя. На этом дереве нельзя строить гнездо, слышишь? Нельзя.

Я ни секунды не думала, что птица вообще понимает, о чем речь. Но на всякий случай сказала:

– Смотри, сколько пустых и уютных крыш с мансардами! Там никто не живет. Живи в мансарде! И Блондинке понравится. Там ни дождя, ни ветра, ни людей. А листья не рви больше. Нельзя.

Мы ушли в дом, забыв и о Карлуше и о его Блондинке.

Вечером, закрывая окна на ночь, я обнаружила, что новых сорванных листьев нет, а обе птицы – и Карл, и его Блондинка спят у ствола каштана на прочной надежной ветке.

Так у Карлуши началась счастливая семейная жизнь.

Кошки приходили во двор неизвестно откуда.

Люди выносили им на блюдечках молоко, колбаску, сухой корм.

Кошки ели и уходили.

А потом мы заметили, что как только кто-нибудь вынесет еду для кошек, Карлуша спускался откуда-то с крыши, по-хозяйски шел к блюдечку, и кошки отступали.

Однажды кто-то вынес Кошкам блюдечко с творожком.

Кошка начала было есть, но тут раздался воинственный клич Карлуши, он спикировал с крыши вниз, и Кошка слегка отступила.

Карлуша сердито гаркнул. И на зов его при-летели еще два ворона.

Одним из них была – точно! – Блондинка, ее невозможно было не узнать по очень светлому оперенью, а другой...

Похоже, другой, молодой, еще не очень крупный, был их детенышем.

Мы впервые увидели их втроем.

Кошка отошла в сторону, уселась и стала ждать.

Творожок скоро остался только на дне тарелки, и Карлуша решил его стряхнуть аккуратненько на плиты двора, но не рассчитал, и тарелка, отчаянно звякнув, раскололась.

Кто-то вышел, забрал сломанную тарелку и положил на ее место корм для кошки.

Кошка была мудрой и знала, что рано, или поздно, это произойдет, и люди без еды ее не оставят.

Это была почти домашняя Кошка, и она привыкла верить людям.

А потом наступила осень, за ней пришла зима. С холодами и небывалыми метелями. Таких снегов Санкт-Петербург давно не видел.

Тем более, что высочайшим указом Губернаторши было приказано во дворах и на тротуарах снег не убирать.

Надо сказать, что, несмотря на немалый возраст, наша Губернаторша сохранила в себе комсомольский задор и убежденность, что все

люди должны болеть энтузиазмом и делать все сами. Даже то, за что они уже заплатили...

Но люди ее не поняли, и ждали, когда же начнут работать дворники, за каждый чих которых жители платили из своего кармана.

Не все могли подменить собой дворников, да и мало, кто хотел выглядеть в глазах соседей идиотом. За лопаты брались только самые крепкие да отчаянные.

И завалило город небывалыми сугробами.

И Кошка больше не приходила...

А потом наступила весна, и сугробы растаяли...

Наш двор недолго пустовал.

Не знаю, откуда, но пришли к нам сразу две кошки.

И домашними они уже совсем не были.

Это были охотники.

И первое, с чего они начали, — охота на птиц.

А однажды стали подбираться, с совершенно определенными намерениями пообедать, к прикорнувшему было посреди дня на любимом каштане Карлуше.

Он проснулся, поглядел вниз на крадущихся по стволу охотников и вежливо сказал им, что это его дерево.

Он объяснял им, что они не правы, что не дело вторгаться в чужой дом.

Но кошки ничего знать и слышать не хотели...

Он был настойчив, и в тот раз они отступили. Но, видимо, мечту пообедать такой крупной дичью, не оставили.

Это были уже совсем дикие кошки, а жизнь быстро учит...

Так вот, я рассказывала, как отчаянно кричал Карлуша в то утро, как громко и гневно.

Как призывал он всех нас в свидетели, да так, что многие проснулись.

Он возмущался и взывал к справедливости.

Но только зря.

И он замолчал.

А когда рассвело, мы обнаружили, что на любимых ветках Карлуши и Блондинки уютно пристроились две дикие кошки.

И больше Карлуша на нашем каштане никогда не ночевал.

Санкт-Петербург

ЧАСТЬ 3-Я.

СЫНУ

ЗОЛОТАЯ ЯЩЕРКА

...А дело в том, что когда я была такая, как ты — ну, примерно того же возраста, жили мы далеко-далеко от Петербурга. И вообще далеко от всех городов. Настолько, что это трудно здесь сейчас себе представить...

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

Лесные поляны разные бывают.

Вот, как нынешние-то говорят? «Давай, поляну накроем!»

А что это значит? Жратва да пьянка, прости меня, Господи.

В старые времена так не говорили. И не делали.

Раньше народ стол столом называл. Ел и пил за столом. Уважали и себя, и пищу. Не по бедности, а по обычаю. Потому и говорили: стол – в доме престол.

А поляны... Они разные, Малыш. Бывают светлые, как летний день. А бывают такие, что ступишь шаг-другой и уже не вернешься.

– Почему, Ма? Почему не вернешься?

– Ты много-то не расспрашивай, ручки под щечку и засыпай. А я тебе тихонечко про них и расскажу. Чтобы в лесу не ошибся, знал, куда ступить можно, а куда – нет.

Был со мной такой случай. Сколько мне тогда лет было? Пожалуй, как тебе. Может, чуть побольше. И жили мы в глухом таежном поселке, вокруг которого на много километров нико-

го из людей не было. Шутили по этому поводу: тайга большая, места много, но детям в тайгу – ни шагу! Строго-настрого было запрещено.

– Почему?

– Потому что потеряться в тайге легко. Зайти просто, а вот назад выйти...

Тут особые секреты надо знать. Меня им дед-эвенок обучил потом, после этого случая.

А дело было так.

День уже к вечеру шел. Как под горку. Замечал? Сначала снизу, с провалов, из оврагов тени выползают. И поначалу они цветные. Значит, солнце еще не село.

А потом тени густеют, темнеют, поднимаются выше и выше, словно ищут солнышко-то, а его нет. Вот, они чернеют от досады, темнеют, сливаются с небом, и начинается ночь.

Но не сразу.

Есть такой короткий промежуток между вечером и ночью, когда вроде бы день на дворе, а про ночь еще и вспомнить надо, а она уже на пороге.

Притаилась...

В этот час все особенное.

Звуки появляются, каких днем не услышишь.

Гукает на краю тайги странная птица. И голос у нее, не поймешь, откуда – то ли сверху, то ли из-под земли.

Кто говорил, что это выпь так гукает, а кто так и про лесные чащобы говаривал: мол, там, в болотах неотпетые души стонут...

Всякое говорили.

Бежала я в такой вот час домой от подружки и гуканье-то это слышала.

И остановилась.

Потом присела. Смотрю, как цветы на ночь закрываются, и выпь слушаю.

На озере белые цветы лепестки свои в кулачок сжали, сомкнулись, и красную звездочку, которая, как драгоценный рубин, в самой сердцевинке весь день юрела, от всех глаз спрятали.

И желтые кувшинки к этому времени закрываются, и жарки...

Опытные люди знают: пять часов вечера наступило. Домой пора...

Это опытные.

А дети заиграются, и время их не трогает, мимо бежит. Оглянулся – темно. Звезды на небе. И надо бы дома уже быть...

Так вот, в тот вечер, как я тебе уже сказала, я к подружке в гости ходила. Было у нас так принято – в гости ходить. У нее была роскошная кукла. Ей бабушка из тряпочек сшила.

А у меня бабушки уже не было. Я ее никогда не видела. Мама говорила, что она-то меня видела, когда я родилась. Но она уже слабая была, болела. И умерла скоро.

– Почему?

– Ты спи-засыпай... Все умирают. Кто – от чего... Сначала не стало моего дедушки. И бабушка стала сильно тосковать. После того, как его не стало, несколько лет только и прожила. Истосковалась, ослабла.

Да, дедушки не стало, а вскоре и война началась.

Их – наших с тобой родных, меня еще на свете не было – эвакуировали в Новосибирск.

Это я по маминым бумагам знаю. Она однажды хороший совет мне дала: показала свои бумажки с печатями, подписями разными и говорит: береги, деточка, все документы, каждую бумажку береги.

А почему – не сказала. Но этот совет я всю жизнь помнила. И он пригодился мне не однажды.

Так вот, началась война, и бабушка пошла работать в госпиталь.

Работала, пока могла. И мама моя помогала ей. Она была уже взрослой девушкой, все умела и никакой работы не боялась.

А перед самой войной мама моя – твоя бабушка – вышла замуж за красивого и умного человека. Это был мой папа. Ты на него очень похож.

– Мой дедушка?

– Дедушка, мой папа...

– А я его не видел?

– Нет... Я тоже видела его только на фотографиях. Потому что, как только началась война, он, как и все, кто мог, ушел на фронт.

И поначалу приходили от него письма. Мама их всю свою жизнь хранила.

Все ждала, наверное.

Но так уж случилось, что весь выпуск их летнего училища ушел на фронт. Весь. И никто не вернулся...

– Никто?

– Да. Все остались на фронте. Ты знаешь, у нас в первом классе было 29 ребятшек. Так вот, на первом уроке учительница попросила поднять руки тех, у кого отцы с фронта вернулись. Не погибли, значит.

Мы молчим всем классом. Переглядываемся. И вдруг смотрю, три руки поднялись. Мы так и обомлели от радости за них. У троих отцы с фронта вернулись!

Мы смотрели на них, как на ангелов. Может, кто из их отцов с кем-нибудь из наших встречался. Там, на фронте, до его гибели...

– И мой дедушка? Тоже погиб?

– Да. Погиб он. Красивый, как ты. Ты на него очень похож. Волосы у тебя, как у него, белые, а глаза карие и ресницы в пол-лица!

Но отвлеклась я. Про что это я рассказывала?

– Про выпь.

– А что – выпь?

– Ухала?

– Да, ухала. Низким таким не птичьим голосом. Как из-под земли. И редко так.

Подождет-подождет – гукнет. И снова замолчит.

Из-за этого-то я и засиделась на краю леса.

Точнее-то сказать, не совсем на краю. Потому, что между мной и тайгой была огромная зеленая-зеленая поляна.

Ровная, как бархат! И даже на вид такая же нежная.

Вот сижу я, выпь — не выпь ли — слушаю. И вдруг вижу, что недалеко от меня — ну метрах так в двух-трех цветочек.

Да такой красоты! Я таких и не виды-вала!

Дай, думаю, сорву для мамы. Она цветы любила очень.

Вскочила, бегом на зеленый бархат...

А я быстрая была, легкая. Все говорили: в чем душа держится, а быстрая, как ветер.

Да...

И вот, бегу я к цветочку красоты несказанной и вдруг чувствую, земля-то под моими босыми ногами колыхнулась. Тяжело так, волной пошла...

И тут я вспомнила, что никакая это не поляна, а марь, и ходить к ней запрещено строго настрого. Оттуда, говорили, еще никто не возвращался...

Я развернулась и бегом, к берегу. А зелень-то эта бархатная прогибается под каждым шагом моим и вот-вот прорвется.

Но до берега я успела добежать.

Оглянулась вокруг. А тени! Уже и домов почти не видно.

Я бегом — домой.

Мама спрашивает: что случилось, ты где была?

– У Тамары, – говорю.

Мама аж руками всплеснула:

– Так они у самой мари живут!

Я молчу. Ничего сказать не могу.

– Ты, – говорит мама, – никогда туда одна не ходи. А к мари и не приближайся!

Я головой киваю.

А она на мои ноги взглянула, да только ахнула.

Чуть не по коленки зеленая тина на моих ногах, чуть не по коленки.

Взяла меня мама на руки:

– Пойдем-ка купаться.

А сама смеется:

– К русалкам потянуло, небось? Пойдешь еще?

– Нет, – говорю. – Никогда больше не пойду!

– Вот и славно, – смеется мама. – Вот и хорошо. А на следующий день соседский дед-эвенок зашел к нам. Был он скрипач. А скрипичному мастерству учился в Петрограде.

Удивительный был дед. Белый совсем, седой. А глаза пронзительные, черные. Насквозь видят.

Посидели взрослые, чаю попили.

А дед говорит мне:

– Я по тайге часто хожу. Хочешь, возьму тебя с собой?

Я обрадовалась – это не одной по марям шастать!

– Ну вот, говорит, в следующее воскресенье и пойдем. Хочешь жемчуг повидать?

– Хочу! – говорю.

– Ну, и договорились.

И много раз ходили мы с нашим петроградским скрипачом-эвенком в тайгу.

Много он мне показал. И как, прежде чем в лес углубиться, приметку позади себя запомнить и с того же места приметить впереди, докуда пройти можно.

Ну, то ли раздвоенная макушка лесины, самая высокая, которую отовсюду видно, то ли еще что.

Объяснял, куда и откуда какая речка ведет и как по ней к людям выйти.

А сколько жемчужниц мы повидали! Вычищенные, горкой сложены. Только на раковинах изнутри перламутр всеми цветами переливается. А уже ни устриц, ни жемчуга.

Дед только головой качал.

Наука его очень мне пригодилась. Однажды, целый геологический отряд спасла.

– Как?

– Да ты еще не спишь? Я уже тебе полсви-терочка связала! Ну, последний рассказик и спать, спать, спать!

– Хорошо, Ма. Только у меня один вопрос будет, можно?

– Ну, если только один.

– А где сейчас этот дедушка-скрипач?

– Как где? Много лет ведь прошло. Умер он.

– Почему?

– Видишь ли, Малыш, так всегда происходит. Человек рождается, растет, потом становится взрослым и умирает. Так всегда бывает. Ну, спокойной ночи! На сегодня хватит.

Я уже собралась было уйти: весь лимит времени мы перебрали, и ребенку давно пора спать.

– Ма! А обязательно становиться взрослым?

– Что? Как ты сказал?

– Можно не становиться взрослым?

Я вернулась, присела на краешек кровати, подоткнула со всех сторон мягкое пуховое одеяло.

– Нельзя, малыш.

– И я должен стать взрослым?

– Да! Ты не хочешь быть взрослым?

Он помолчал и спросил внезапно:

– А ты... Ты могла бы перестать быть взрослой? Ну, стать, как я?

– Я плохая мама?

– Нет! Ты лучшая в мире мама!

Он солнечно улыбался. Потом сказал:

– Дело не в этом... Раз я должен стать взрослым, мы могли бы расти вместе!

Тут уже засмеялась я:

– А мы ведь и так вместе растем. Мы всегда вместе, правда?

И... это так интересно быть взрослым! Представляешь, когда ты вырастешь и станешь взрослым, ты прочитаешь все эти книги!

И я провела рукой в сторону стеллажей, наполненных книгами от пола до потолка. Их было очень много.

– Все-все, Ма?

– Все!

И тоже засмеялась.

– Ну, вот, заговорил ты меня. Я ведь тебе про лесные поляны рассказать хотела!

Знаешь, Малыш? Они всегда-всегда солнечные – лесные поляны. Всегда.

Малыш улыбнулся, чуть слышно прошептал:

– Здорово!

И в следующую секунду он уже спал, и в уголках губ его теплела улыбка.

А я стояла в полумраке детской комнаты и чувствовала, как трудно мне сегодня уйти из нее...

ЗОЛОТАЯ ЯЩЕРКА

Жила-была на свете ящерка.

Была она поначалу как все ее сестрицы и подружки. Быстрая, юркая, на одном месте не стояла – все бегом, да кувырком, да все ладненько.

А времена были такие, что хоть и на свет не являйся.

О временах тех лучше не знать, а будет случай, я тебе расскажу про них. Потому, что хоть

про них лучше бы и не знать-не Мать, а придется; вдруг повторятся когда-нибудь. И надо быть ко всему готовым.

Ну, чего ты рот-то раскрыл, не кушаешь? Ты ешь-ешь, все, что на тарелке – съедай, врагу силу не оставляй...

Да и спать скоро.

– Хорошо, Ма, ты дальше читай. Про ящерку-то.

– Не читаю я тебе, а рассказываю, чего никто еще не написал. А ты ешь, не перебивай, запомнишь все, и в книжечку запишешь.

И будут читать и детки твои, и детки деток, и так-то вырастут они не разлей-вода.

И никто им не страшен будет, кто бы на нашу землю русскую не наворотился – ни Змей Тугарин, ни злой хазарянин, ни дурак Хлеб-не-не-сей... Да много кого, на землю-то нашу испокон веку зарилось...

– И?

– Что "и"? Пообкусали нас со всех сторон по форме ящерицы той золотой, словно к скале ее пригвоздили. А дальше не могут. Не пускает она их дальше-то...

– А как так не пускает, если пригвоздили? Неживая она теперь получается. И ничего не может.

– Ишь, умник ты у меня какой. А слушать не научился. Дело в том, что ящерка, хоть и была, как все, секрет один знала. То ли мать ей передала, то ли бабушка...

Только знала она тайну одну.

А тайна простая была, у всех на глазах бывала-то.

Только забыли о ней. Потому, что из-за войн и голода много людей на Руси поумирало до срока... И секретов нужных молодым передать не успело. Да и те тоже долго не жили.

Вот, я и говорю, страшнее нет тех времен, когда стар да мал уходит до срока. Тогда-то народ и теряет главную свою силу, тогда-то и забывает, как перед любым врагом устоять, и как землю да людей от ибели сберечь...

Есть для этого разные средства.

И первые среди всех – вода родниковая, живая, а второе – травы.

Слышал, небось, растут у нас особые травы.

– Какие?

– Да все разные. Одна, например, травой забвения называется, а другая – разрыв-травой...

А есть еще у нас, в России, сон-трава.

Каждую травинку, силой своей особенной наделенную, люди знали.

Помнишь, маленький ты совсем был, босиком бегал и ногу порезал? Я тебе тогда к ране травку приложила и травкой обмотала?

– Да! И все зажило!

– А помнишь, как трава та называлась?

– Подорожник!

– Правильно. Так вот, в старые времена, когда и меня еще на свете не было, многие на Руси все про травы знали. Одни травы раны лечат, другие кровь поправляют, третьи клады указывают, что в земле зарыты. А иные могилы раскрывают...

– Зачем, Ма?

Я тебе об этом в следующий раз расскажу. А сейчас ко сну готовиться и – спать.

А то я тебе про Золотую Ящерку начала рассказывать, да не дорассказала.

...А дело в том, что когда я была такая, как ты – ну, примерно того же возраста, жили мы далеко-далеко от Петербурга. И вообще далеко

от всех городов. Настолько, что это трудно здесь сейчас себе представить.

Хотя на самом-то деле, городов на земле не так уж много, как кажется.

А в основном земля заселена деревьями, травами, цветами и грибами-ягодами. Да всяким зверьем.

Знала я это, и вроде бы всех зверей, в тайге живущих повидала.

А зимой я очень любила на медвежьей шкуре лежать и в огонь смотреть. Знаешь, когда в камине дрова уже прогорят, остаются одни чистые угли. Как золото живое.

Так и у голландки.

Когда синие огоньки на углях затихали, мама открывала дверцу, и мы с ней этим жаром и любовались, сидя на медвежьей шкуре.

— А шкура откуда у вас взялась?

— Подарил кто-то. Нам много неожиданного дарили. Маме однажды оленью шубку. Красоты небывалой!...

Всяких зверей я знала. Охотники ведь вокруг-то жили. И сохатого, и русаков, и соболей, и белок повидала. Ну, и букашек всяких.

— Божью коровку, например.

— А чего смеешься? Да, божьи коровки там тоже водились. Но я больше слоников любила. Они обычно сидели на теплой стороне лиственниц. А сами были теплые от солнца. И шершавенькие.

Цепкие они были, не нравилось им, когда их со ствола-то снимали. И хоботок у них был. За это и звали их слониками.

Слоников мы любили.

Но букашки — это птичье хозяйство, и я ими не очень-то интересовалась. Все мне хотелось Золотую Ящерку найти.

Говорили, что живет она на склоне Первой Горы, в траве вокруг малинника.

И увидеть ее можно только однажды, когда травы на горе от жары пожухнут, и малина созреет так, что ее есть уже можно...

Но вот ведь беда-то! Детям строго-настрого запрещалось за поселок выходить.

И кольцо запрета начиналось с Первой Горы.

А что в поселке интересного? Только рудник — на руду золотую поглазеть. Да еще ручейки весной.

Представляешь, когда снега в горах начинали таять, то от них ручейки растекались по всему поселку, как шитье драгоценное.

Потому, что у каждого на дне столько красивых горящих камней высвечивалось, что часами можно было стоять и смотреть, как струи плетутся, кружевами щепочку иную выкрутят и помчат вниз, к Аллаху.

– Куда помчат?

– К Аллаху. Река так у нас в Аллах-Юне называлась. И шла она от самых вершин золотых гор Джугджура до Алдана. Потому – Аллах по-якутски. Верхняя, то есть.

Вода в ручьях чистая, прозрачная, а на дне такие камешки красивые – не передать.

Видишь, вода вещь особая. Она и кусочек кирпича так обкатает и обмывает, что он, как яшма смотрится.

Пока в воде-то, под струями все – драгоценность.

Нет, конечно же, были там и камни драгоценные, и золота много, да нас это не интересовало. А вот ящерка всех интересовала.

С ней легенда была связана. А может, и просто небылица.

Но говорили, кто Золотую ящерку в рыжей траве увидит, тот уж половину счастья своего узнает. И оно ему никогда не изменит. Полжизни будет с ним.

Полжизни!

А если изловчиться, да Ящерку за хвост-то поймать, она хвост свой сбросит. И убежит. Новый отращивать. Они это умеют... А ты держи его крепче и домой беги, да за порог спрячь, под нижнюю ступеньку.

И тогда счастье-то ко всем в доме перейдет, никого не бросит. И на всю жизнь.

И очень уж хотелось мне у той ящерки хвост-то отобрать.

Глупая была, а по глупости чего не бывает?

Вот, лежу я однажды у самого склона. Отдыхаю. Устала потому что.

Знаешь, у гор свойство такое есть – от людей бегать.

Нет, правда, ты не смейся.

Чем ты ближе подходишь, тем она дальше от тебя. И так долго-долго. И нужно много терпения, чтобы до склона дойти.

Я дошла.

Сижу, жду.

День тихий. Солнечный. Мягкий. Осень...

Сидела-сидела. Потом прилегла. А сама глаз с травы не спускаю. Она пожухлая уже. За лето-то загорела.

Сколько я так прождала, не знаю. Но вот и день, чувствую, кончается, а Ящери нет.

И только подумала я уходить, – а то мама хватится, а меня нет нигде, как в это самое время смотрю, словно лучик золотой в траве-то жухлой сверкнул.

Вспыхнул и исчез. А потом снова сверкнуло было что-то и быстро так вверх, прямо к малиннику, словно золотая паутинка протянулась, а по ней – лучик солнечный пробежал.

Удивилась я. Села, чтобы получше рассмотреть, а она возьми и обернись!

Я и замерла.

Смотрит на меня Ящерка, а глаза у нее не то синим, не то зеленым просвечивают.

Я про хвост вообще забыла.

А она помолчала так задумчиво, что ли, и юркнула себе, в малинник.

Я кубарем домой. Хочется маме рассказать. А что там рассказывать? Что в траве ящерку увидела?

Взрослые только посмеются. Вот, мол, не-видадь. Лучше б травы пособирали – осенние травы особые.

– А счастье, Ма? Дала Ящерка тебе счастье?

– А как же! Вот оно, мое счастье. Лежит, глазами хлопает и не засыпает! Самое лучшее в мире счастье!

– А травы? Ты про травы расскажешь?

– Обязательно, но не сейчас. Поздно уже. Спи сладко!

– Ручки под щечку! – смеется.

Дразнится, значит.

А я думаю – главное, что настроение хорошее. Как раз для легкого сна.

ЗАБЫТЫЕ НА КРАЮ ЛЕСТНИЦЫ

В старинном доме на четной стороне Фонтанки, неподалеку от ее начала, не так давно был городской суд. Сейчас он, говорят, куда-то переехал, а, может быть, нет, и тогда все осталось на своем месте: и крутые винтовые лест-

ницы в неожиданных – потайных – нишах за поворотами длинных коридоров, и удивительная ванна, похожая на бассейн – крохотный, но совершенно всамделишный.

Края его отделяет от пола невысокий парапет, а спускаться надо вниз, держась за поручни вертикальной лесенки.

– Как на корабле?

– Да-да, Солнышко. Точно так...

Все в этом доме, кроме судейских кабинетов и несчастного люда, толпящегося подле них в очередях за справедливостью, надеждой, или за «авось», оставалось прежним, как было при тех, для кого дом строили.

Так, будто ушли жильцы его ненадолго, и вот-вот вернутся...

Но никто не возвращался.

Текли-кружились годы, свивались в десятилетия, словно бесконечные воды Фон-танки. И только река жила жизнью всех, кто бытовал на ее берегах когда-нибудь.

Это она принимала в темные струи свои все их невзгоды и радости, печаль и недолгое счастье и хранила их чувства и их отражения дольше, чем была сама их жизнь. Зачем? Кто объяснит это? Не знаю.

Но только Река и Дом ничего и никого не забывали, хотя давно ушли куда-то те, кто бегал по широким мраморным лестницам, прятался в тихих уголках большого дома, чтобы посеCRETничать, или попереживать в одиночку, подальше от заботливых глаз нянь и тетушек.

Никто не наливал в ванну-бассейн воды, никто не смеялся, плюхаясь в ее очищающее тепло, никто не играл в прятки на винтовых лестницах, уходивших в небо. Никто.

Но, несмотря на это, всегда в городе, незаметно для всех и вопреки всему, застревал кто-нибудь из – для всех несуществующего уже времени – прошлого.

Когда человеку совсем-совсем одиноко, настолько, что не с кем и поговорить, просто вот так – не с кем, потому что все его сверстники, все его поколение уже ушло! – он начинает вспоминать тех, кто были на этой земле.

Смеялись, бегали, работали. Ими гордились, потому что они были просто хорошими людьми. У них были папы и мамы, у них были дети. И они никогда никого не обижали.

А сколько звуков было вокруг!

Особенно после войны.

Во всех дворах играли патефоны. Окна были распахнуты, зимой – форточки, летом – все створки, потому что жили открыто, радостно. А еще и потому, что в те времена курили почти все взрослые. Те редкие мужчины, которые ненадолго вернулись с фронта. Ненадолго, потому что израненные и перенесшие непосильную работу войны, недолго жили. Курили и женщины тех, кто никогда не вернулся.

Курили, чтобы заглушить боль, от которой не было защиты. Боль за тех, кто не вернулся...

Некоторые мужчины, израненные, искалеченные, но выжившие, спивались и умирали быстро. Сгорали от послевоенного спирта. Глотнули на выдох, а вдохнуть уже не могли.

О них так и говорили – сгорел.

Никто никогда не говорил: спился.

Не было, наверное, таких.

Иначе кто восстановил бы города, заводы, фабрики, дома, в которых стали жить люди? Немцы ведь все разбомбили, сожгли, разрушили.

Так кто все построил на разоренной земле? Да все те и сделали, кто остался в живых после

всех фронтов Великой Отечественной. Они все и построили своими руками, все восстановили.

Знаешь, слово такое есть – ритм.

Вот они жили, как танцевали – в одном ритме.

Больше всего они любили почему-то вальс.

Может быть, потому и многие военные песни были написаны в вальсовом, кружащемся ритме.

«Кружится, кружится старый вальсок ...»

Но это пели уже много позже, когда подросшие дети войны отказались от родительских вальсов и танго, полек и па-де-грас'ов, отказались резко от всего, что связывало их с «предками», родившимися еще в прошлом веке, или в самом начале нового, двадцатого, и с головой окунулись в космические ритмы рок-н-рола, истому блюзов, тряску чарльстонов и твитов. Почему?

Может быть потому, что им мало рассказывали о том времени.

Оно для них просто не существовало.

Оно было им неинтересно.

– Почему?

– Им о нем не рассказывали. Взрослые старались молчать о прежнем времени. Да и жили они недолго. Так и уходили, ничего не рассказав. И связь между поколениями рвалась.

А это плохо.

Потому, что каждый, рождаясь, начинал все заново. Такие вот были времена, что дети росли как бы сами по себе, а старшие доживали молча... Да...

Твит... Что-то очень знакомое.

– Твиттер! – смеется малыш. – Просто твиттер!

– Нет, – возражаю я. – Может быть, танец по-другому назывался? Не помню. Спросить не у кого.

Когда умерла мама...

Об этом я пока не могу...

Все их великое поколение уже ушло с этой земли. Она ухитрилась родиться в 1919. Тогда, когда хазаряне, убив Государя-Императора, убив зверски, а заодно и замучив до смерти его детей, их маму, всю челядь, что оказалась рядом, свершив таким образом свое варварское жертвоприношение, почувствовали что обезглавили, гильотинировали Великую Страну. И жутко этому обрадовались.

Ты видел картинки, где индейцы вокруг костров скачут, приготавливая себе в пищу белого человека? То-то.

И эти прыгали от радости. Теперь они хозяева.

И порядки для покоренных завели свои – зверские.

Но у их врагов чудом каким-то все-таки иногда рождались дети. Да-да, и года не прошло, а у людей стали рождаться дети.

И хазарянам снова стало страшно. А со страху чего не наделаешь. Самые нечеловеческие зверства – вот, чем глушили страх хазаряне.

Не оттого ли многие из них переставали быть людьми?

Вот в это-то время, в июне 1919 года 8 числа и родилась твоя прабабушка.

Была она беленькой, белокурой и голубоглазой, как большинство тогдашних русских.

И ясно было, что растет красавица.

Скажу тебе, потому и ненавидящие их злые люди и прозвали их «русаками» за красоту и белизну кожи.

Но не любоваться даже они не могли.

Не оттого ли нынче среди инородцев, глядь, да мелькнет, пронзит внезапностью своей си-

ний или золотисто-карий бесстрашный взгляд из-под белой, как лен, челочки?

Но это – история особая. Может быть, и расскажу когда-нибудь, не обещаю.

А официально значились они вовсе не «русаками» – так у нас лесных диких зайцев звали, а не людей. Значились они великоросами.

Потому, что из всех росов – белых, черных, красных и прочих, были самым крупным, самым великим родом.

И были смелы и красивы. И милосердны.

...Уже не было в живых ни деда, ни прадеда. А семья Марии – так называли новорожденную – все шла на Восток. Подальше от зачумленного Петрограда.

Уфа, Тува, Фыркал... Вот здесь-то и застрять пришлось из-за рождения дочки.

И снова отодвинулась в невозможное мечта русских – Колчак Александр Васильевич, к которому и шел их долгий русский – крестный! – путь, сначала в Новониколаевск, а потом уж, как Бог даст...

Прабабушка – а тогда молодая мама – говорит как-то:

– Отец, тувинцы люди добрые. Им до русских дела нет. Отделяются они, говорят, от

России. Может быть, Марию-то попроще запишем?

– Тебе и уговорить их, Пелагея. Мне при них лучше и рта-то не открывать. Они военную косточку сразу учуют.

– А то по тебе и так не видно?

Засмеялась.

– А ряса? Я могу и в рясу теперь-то обрядиться. Не грех. Разрешили ведь.

– А где ты рясу такую найдешь, которая русского офицера скроет? В рясах-то что – не воины?

– Воины.

Долго молчал. Спорить не любил. А об очевидном что говорить?

Потом сказал негромко:

– Ну, так решили?

«Вот, и слава Богу, – подумала Пелагея. – Уйдет в тишину наша фамилия, за которую расстреливают...»

А он говорит вдруг:

– Только, когда фамилию нашу дочке менять будешь, хоть начало оставь. Одну буковку поменяй, в конце, может быть... Не знаю...

– Непременно. Чтобы своих нашла, когда вырастет.

– Это где же она своих-то искать будет?

– Так как – где? В Петербурге и окрестностях. Наших найти не трудно – взгляни, какая лапушка! Уже сейчас видно, из чьих.

«В том-то и беда, — подумал отец. В том-то и беда, что мы как в прицеле.

К мишени приклеены... породой.»

И все-таки, не удержался, попросил:

– Ты ей понемногу про дом-то рассказывай... Когда подрастет. Про нас. Про Фонтанку. Обещаешь?

Вздогнули плечи, вскинулись синие глаза – отчаянный, страшный невозможный вслух вопрос мужу застыл в них.

– Вот и договорились! – строго остановил он, не дав произнести вслух то, что рвалось из ее глаз.

И – чуть помягче:

– Вот и ладно.

И вскоре, пока не закрылась совсем граница, снова двинулись они вместе с тысячами других таких же в долгий путь.

Шли на северо-восток. В Россию. Шли и наши. С двумя маленькими девочками и тре-

тшей – новорожденной Марией. Долгий, безнадежный путь. Не все выдерживали его. Не все.

Но наши дошли все-таки до Новониколаевска. Не оставаться же за границей России, не оставлять ее, не облегчать врагу его кровавый бесовский шабаш.

Дошли, да поздно. К этому времени Адмирала, последнего Правителя Российской Империи убили, сбросив под Иркутский лед...

Но, видимо, немало ушло тогда туда наших людей, потому что до сего дня говорят, что самые красивые русские девушки вырастают в Сибири. А почему, мало кто помнит.

... В каждом большом городе есть кто-то, застрявший во времени на винтовой лестнице своей памяти. А вокруг него ходят-двигаются новые люди.

И ничего не знают они ни о Застрявшем, ни о его времени, ни о бассейне – о нем просто все забыли за ненадобностью – никто, видимо, не рассказал. видимо, некому было.

Как и о крутой-крутой винтовой лестнице, с ее чугунными цветами и стеблями, вплетенными в решетку перил, лестницу, идущую к небу, таинственную и молчаливую, как сам дом, как бесконечные воды Фонтанки, не забывающей никого...

НОЧИ ПАХНУТ СНЕГОМ

Ночи пахнут снегом. Облака, стоячие, словно отражения в озере, над крышами Невского проспекта, над трубами близлежащих домов, редким из которых люди побогаче уже вернули изначальное предназначение каминных, — замерли, заснули?

Все спит, все затихло.

3 часа ночи.

Новому дню всего три часа.

И все впереди.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1-я.

Кресты колдовские.....5

Часть 2-я.

Забытые на краю лестницы.....131

Часть 3-я.

Золотая ящерка.....174

Литературно-художественное издание

Ольга Ланская (Талалаева-Ланская Ольга Юрьевна)

Рассказы.

Корректор Е.С. Решко
Верстка И.И. Токарева

ISBN 978-5-4469-1941-3

Формат А5. Гарнитура: Caslon, Verdana.
Печать цифровая. Отпечатано в соответствии с
предоставленными материалами с готового оригинал-
макета в типографии "Нестор-История"
г. Санкт-Петербург